

Николай Климонтович

**СКВЕРНЫЕ ИСТОРИИ  
ПЕТИ КАМНЕВА**

роман<sup>1</sup>

Москва  
Издательство «БПП»  
2010

## Оглавление

В ТАКОМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ — РАССЧИТАТЬ СИЛЫ.....	3
ПРОВИНЦИАЛКИ — ЭТО ОМУТ.....	22
НОЧНЫЕ МАССОВЫЕ СЦЕНЫ СЛАЩЕ ДНЕВНЫХ.....	38
ИНОГДА ХОЧЕТСЯ НАСТУПИТЬ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ.....	60
ОСТОРОЖНО, СЕГОДНЯ У НАС БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ.....	82
В ПЕЙЗАЖЕ ХОРОШИ И ЦЕРКОВЬ,.....	92
И ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА.....	92
ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ.....	107
ПЕРЕМЕНИТЬ МЕСТО.....	107
ПИОНЕРКИ СВЕЖИ, НО НАДО ЗНАТЬ МЕРУ.....	128
ЖИТЬ НА ЭТАЖЕ ТОЖЕ НАДО УМЕТЬ.....	147
ПОСЛЕ ОБЫСКА НУЖНО.....	168
ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ.....	168
КЛОУН-ЕВРЕЙ — НЕПЛОХОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО .....	181
ПЛАЩ РЫБАКА НА БУЛЬВАРЕ ВЕСЬМА ПРИМЕТЕН.....	193
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.....	205
НЕ СТОИТ ЛЮБИТЬ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ.....	205
ВЕРНУВШИСЬ С ТОГО СВЕТА,.....	217
ПОПАДАЕШЬ В ДРУГУЮ СТРАНУ.....	217
ИДЕШЬ НА БАРРИКАДЫ —.....	229
ВОЗЬМИ С СОБОЮ ТЕРМОС.....	229
НЕ ДАЙ БОГ ИДТИ ПРОТИВ ВОЛИ НАРОДА.....	244
В СУПЕРМАРКЕТЕ НЕ НУЖЕН.....	257
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ.....	257
ТОЛСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ.....	265
ТРУДНО ХОДИТЬ ПО ПЕСКУ.....	265
НА МЕСТЕ ЭПИЛОГА.....	273

## В ТАКОМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ — РАССЧИТАТЬ СИЛЫ

В первый же день она заблудилась.

Веря, что она должна чувствовать себя бодрее *на свежем воздухе*, Елена Петровна решила найти речку, о которой еще в Москве рассказывал, расхваливая место, Михаил Борисович, *совсем близко, через две улицы*. Она вышла за ворота, вокруг стояли одинаковые заборы, высокие и глухие. Прочла на калитке, что номер *их* дома — двадцать два. Она знала имя улицы — Гоголя. Во всяком случае, так ей запомнилось, и она повторяла *Гоголя двадцать два*. По словам Миши, идти было нужно *вниз*, но где здесь низ, а где верх — трудно было определить. Наклон, казалось, вел влево.

Не то чтобы ей нужна была эта речка, но стало скучно в небольшом огороженном пространстве, в глухом от лопухов и бузины саду и в доме с чужой посудой. Она объясняла потом, что решила, *пока Миша не вернется из города, посмотреть окрестности*. К тому же она вспомнила давнее, счастливое лето на даче в Загорянке, когда она и Витя были молодыми, по этой же ветке железной дороги. Там тоже тогда была холодная юркая речка, густо обросшая. Елена Петровна не подозревала, что здесь протекает та же самая речка, Клязьма.

Было душно и пыльно, хоть за заборами стояли деревья. К полудню стало жарко, и когда среди облаков показывалось солнце, то слепило глаза. У нее были с собой солнечные очки, но в них она совсем плохо видела дорогу, два раза споткнулась, едва не упала. Упасть она боялась больше всего. Даже не перелома, скажем, ноги или, того хуже, шейки бедра, тогда уж было бы все

равно,— боялась, что не сумеет встать. Она теперь сделалась грузной и неповоротливой, а ноги и руки за последний год ослабели.

Я вижу, как бредет Елена Петровна без очков, щурясь, глядя под ноги. Ей казалось, что она миновала уже два перекрестных переулка, но впереди была все та же песчаная улица, а реки не было видно. Она решила спросить дорогу, но вокруг никого, и все ворота были крепко закрыты. Впрочем, ей встретился мальчишка в одних трусах, без майки, верхом на велосипеде, она окликнула его и спросила про речку. Ездок, не останавливая кручение педалей, вильнул колесом и махнул рукой, мол, *там, близко*. Но показал не прямо, в сторону.

Елена Петровна пошла, куда сказал велосипедист, направо. Она скоро устала, но присесть было негде и не на что, ни одной лавки, и она решила, что пойдет лучше домой, а речку посмотрит *в другой раз*. У дамы с хозяйственной сумкой, — женщина была, казалось, немногим ее моложе, но подтянутая, в шортах, — она спросила, как ей пройти *на Пушкина*.

— Вам какой дом нужен, — зачем-то спросила женщина.

— Двадцать два, — с опаской созналась Елена Петровна. Ей пришло в голову, уж не Мишина ли это, случаем, знакомая: тот вечно хвастался, какой он до таких-то лет оставался дачный ловелас.

— Это не близко, — сказала дама. — Да и не в ту сторону вы идете. — Она поставила сумку на землю. — Вам надо пойти так, потом налево, потом прямо, там спросите.

Женщина подняла сумку и пошла дальше. Елена же Петровна покорно отправилась, куда ей было сказано, сомневаясь, правильно ли она назвала улицу. Теперь ей казалось, что неверно. Но, раз запутавшись, точно вспомнить уже не могла.

...После смерти мужа у Елены Петровны Камневой остались взрослые дети. Сын Петя, которого, как тому казалось, она не любила, и дочь Лиза, которой побаивалась.

Сын, неудачливый, как ей представлялось, журналист, давно жил отдельно, то с одной женой, то с другой. Теперь вот с третьей. Елена Петровна в них путалась, на ее взгляд *все они* были одинаково по-человечески неинтересные, но смазливые женщины. Она удивлялась, что *они все* находят в Пете, который был когда-то красивым мальчиком, но теперь тоже стал обыкновенным, то ли от недалекости, то ли оттого, что пил и курил. *Да еще эта история с Алкой...*

Дочь тоже нельзя было назвать красавицей, сразу после смерти отца, мужа Елены Петровны, та опять вышла замуж. То ли во второй, то ли в третий раз, как считать, потому что промежуточный муж был женат, зато от него у Лизы ребенок. Новый же муж, кстати, оказался симпатичным и приветливым, младше Лизы, любил Васю, у него тоже был ребенок от первого брака, так что все складывалось удачно.

Я знал эту семью как раз через Петю Камнева. Он и назван-то был в честь деда по матери, которого никогда не видел. С Петей я служил, пока он не уволился не-

ожиданно, в редакции одного молодежного журнальчика, где мы и сдружились. Петя был одаренным парнем. Он теперь был на *вольных хлебах*, и некогда считался, что называется, *золотым пером* нашего хилого журнальчика; он уже выпустил к тому времени сборник не самых плохих рассказов, а секретарши редакции и бухгалтерши, сколько его помню, всегда на него заглядывались. Что же касается Лизы, его сестры, то это была молодая привлекательная женщина, психолог по специальности, весьма саркастическая и действительно твердого характера, наверное, эти черты были профессионального свойства.

Меня всегда удивляла строгость, даже холодность Елены Петровны к собственным детям. Отец же сына обожал. И Лиза-то объяснила мне кое-что, когда мы курили вместе у Пети на кухне в его новой квартире,— в комнате шумно пировали по случаю новоселья. Причем без всякой запальчивости, что просто-напросто мать *всегда была влюблена в отца как кошка*, а до детей ей и дела не было. К Пете к тому же она отца ревновала. *Самым натуральным образом*, сказала Лиза. *И на это у нее были причины*, загадочно добавила она, пыхнув холодным мятным *Салемом*...

Думаю, эта романтическая поездка была последним усилием жизни Елены Петровны, опасным приключением, каких у нее никогда не бывало. Своего рода реваншем за многолетнее супружеское служение.

Дело обстояло так: Михаил Борисович, так она его про себя называла по старой памяти, был всегда в нее влюблен. Он был учителем математики у Пети в школе,

с тех пор, как тот пошел в пятый класс. Где они познакомились, она не помнила, ну, на родительском собрании, быть может, и ее подкупило, как Михаил Борисович был внимателен к ее сыну. То есть к ней в конечном итоге. Однажды, заговорив о Пете, сказал, что у того *хорошая голова*, и Елена Петровна, помнится, рассмеялась — *да не тому досталась, хотите вы сказать*. Михаил Борисович посмотрел тогда на нее долгим и глубоким еврейским взглядом, и ей его стало жаль. Он работал в школе простым учителем, а ее муж был уже *подающим надежды* молодым ученым, кандидатом наук, доцентом в Институте механики, занимался аэродинамикой, гонял воздух по какой-то трубе. И был влюбчив. Когда-то, в молодости муж принялся было рассказывать Елене Петровне про аэродинамику, но она ровным счетом ничего не соображала. *Ему не с кем было поговорить про свою физику, отсюда и аспирантки*, понимала теперь Елена Петровна.

Этот самый Михаил Борисович оказался на удивление постоянным воздыхателем, оставаясь таковым в течение долгих лет. Вечным, можно сказать. Что ж, Елена Петровна и к старости сохранила удивительно хорошее лицо с чертами старинной барыни. А в лучшие годы у нее была к тому же замечательная фигура: она была статная, полногрудая, с узкой талией, с красивыми ногами. К тому же гордячка, всегда холодно вежлива. Короче, производила впечатление аристократическое, в ней и вправду были *крови*, чувствовалась порода. Вряд ли Михаил Борисович, шустрый до суетливости, щуплый, сутуловатый, хоть и занимался йогой, когда-нибудь

встречал дам такого разбора. Да что там встречал, хотя бы видел издали.

Муж Елены Петровны лишь подтрунивал над женой, не принимая ее поклонника всерьез. Поэтому чуть не раз в неделю Михаил Борисович, в первую половину дня, если Елена Петровна бывала дома, без стеснения навещал ее. Даже если она была не одна. Муж Елены Петровны, если попадался, не без сарказма, преувеличено вежливо раскланивался и скрывался в кабинете. Она поила Михаила Борисовича чаем на кухне и слушала. Рассказы гостя были однообразны, но без оттенка жалобности. Он и о любви своей к ней давно не говорил, это подразумевалось. Так, о школьных делах. О своей коммуналке. О больной матери, с которой жил вдвоем. И, конечно, о многочисленных своих дамах. Он никогда не был женат, у него не было детей, но ни с одной женщиной ему, по его словам, интересно не было, *год, от силы два*. И Елена Петровна подтрунивала, мол, такой завидный жених, *куда же дамы смотрят*.

— Тебя, Ленка, жду, — говорил тот с пафосной серьезностью — они давно, как старые друзья, были на *ты*, и ему за его служение позволялась даже известная фамильярность. Кроме того, когда он это повторял, Елене Петровне становилось зябко и немного стыдно. Хотя, в общем-то, стыдиться ей было нечего.

Как ни странно, уже под вечер она нашла-таки и Пушкина, и двадцать два. Но у дома оказались другие ворота, и в отворившуюся на минуту калитку она увидела девочку, которая играла в песочнице. В *их с Мишей доме* не было ни песочницы, ни девочки. Елена Петров-

на поняла, что сходит с ума. Она отошла в сторонку, почувствовав, как устала. Тяжело опустилась на какой-то бугорок. И ей стало отчетливо ясно, что она очень стара и никому не нужна.

Теперь она успела понять, конечно, что Михаил Борисович — мелкая душа, ничтожество, что было особенно ясно в сравнении с памятью о благородстве ее покойного мужа. Но неожиданно для нее самой оказалось так, что больше никого у нее не было: дочь — отдалась, о Пете и говорить не приходилось...

Похоронив мать, он женился-таки. Причем на одинокой, значительно моложе его и красивой, как ни странно, к тому же состоятельной женщине, взрослые дети которой жили отчего-то в Аргентине. Он с молодой, так сказать, женой даже ездил туда, потом рассказывал, что хотел привезти и подарить мачете, без которого пропадешь то ли в сельве, то ли в пампасах, но отобрали на таможне. Зачем Елене Петровне было мачете. Впрочем, скорее всего, это он все приврал, чтобы не дарить подарков — с возрастом Миша стал, мягко сказать, жадноват.

После Аргентины он сделался в своей школе завучем, чем гордился, а *молодая жена* быстро умерла. И Миша остался вдовцом и наследником и квартиры, и машины, и этой самой дачи с гаражом в Валентиновке. Квартиру, впрочем, пришлось потом вернуть аргентинским детям. Но все остальное он прибрал.

И как скверно все было на похоронах. Пришла толпа физиков, многих Елена Петровна и не видела нико-

гда. Лиза настояла на отпевании. А ведь Виктор не был верующим, хоть и крещен, конечно, в детстве. И в церковь никогда не ходил. Но Елене Петровне уж было не до того: пусть отпевают. Тем более, что все похоронные хлопоты, беготню с документами и оплату могильщиков, Лиза взяла на себя.

Прощание проходило в кладбищенской церкви, куда гроб привезли из больничного морга. Елене Петровне пришлось долго стоять в трауре, который ей наскоро соорудила дочь, впереди толпы родственников, друзей и коллег, среди которых мелькнул и Миша, к ней — из деликатности, наверное — не подходил, стоять у ног покойного, пока поп кадил и читал свои заупокойные молитвы. Ей хотелось обнять мужа, но ей отчего-то не разрешили, поставили здесь. Наконец, священник дежурным голосом пригласил прощаться, Елена Петровна медленно пошла вперед, а за ней все остальные. И — она вспоминала об этом с болью и тоской — Петя, стоявший на правах первенца прямо за ней, нетерпеливо подтолкнул ее, когда она все не отрывала губы от холодного лба и гладила пышные седые еще живые волосы мужа, лежавшего в гробу среди цветов. И сквозь отчаяние поняла, отчего сын так торопится: выпить на поминках.

Сил идти далеко, через все мокрое весеннее кладбище, к могиле у Елены Петровны не нашлось. И она попросила отвезти ее домой, твердо решив, что накажет Лизе саму ее, когда она умрет, сжечь в крематории. А уж урну зарыть здесь, рядом с Витей. Во время поминок она не выходила из своей комнаты, только слышала сквозь дверь, как по-хозяйски распоряжается Лиза. И

понимала со смирением, что не только мужа, но и своего дома у нее больше нет.

На похоронах Виктора Львовича я, конечно, присутствовал. То, что Елена Петровна приняла на бестактную торопливость в поведении Пети, было связано с каким-то странным возбуждением, охватившим его после смерти отца. Подобное случается с нервными людьми в моменты особенно острых переживаний. Скажем, он даже у могилы был не то чтобы весел, но не к месту шутив. И я помню, с каким осуждением смотрели на него физики, коллеги его отца. Известное равнодушие проявляла скорее Лиза, но это тоже было внешнее впечатление: просто она заняла себя хлопотами и похоронными заботами, и это ее отвлекало. А выпить Петя, скорее всего, действительно хотел.

Михаил Борисович нашел ее в сумерках на станции, сидевшей на скамейке. Елена Петровна не казалась испуганной и не плакала. Но посмотрела на него без радости, почти безучастно, сказала *вот, наконец-то*, будто у них было назначено здесь свидание. Ему показалось, что, как ни странно, она была на него обижена.

Он уже давным-давно приехал из Москвы, поставил машину в гараж, потом обыскал весь дом, решил было, что Елена Петровна сбежала. *Как девчонка*. Но все ее вещи были на месте. И никакой записки. Проклинавшая все на свете, потому что у него было много домашних дел и *он устал*, Михаил Борисович отправился на поиски. Сходил на речку, по берегам которой на обод-

ранной траве валялись немногие голые отдыхающие и ловили последние солнечные лучи. Потом по наитию направился на станцию, где Елену Петровну и обнаружил. Ее, свою старую любовь *всей жизни*, как он любил говорить выпренне, хоть теперь и не был в этом уверен. Впрочем, он всегда точно знал, что рано или поздно она будет ему принадлежать. Потому что он был тверд в достижении своих целей и *умел ждать*.

Нет, Елена Петровна, конечно, никуда не поехала бы, если бы не дети. Но едва прошло девять дней после похорон, Лиза объявила, что она и ее новый муж начинают делать в квартире *капитальный* ремонт. *Включая трубы*. И уже одолжили денег. Что ремонт продлится чуть не все лето, и она, Лиза, уже нашла *небольшую квартиру*, в которую они все и переедут на это время. *А если тебе, мама, будет неудобно, то Петя обещал устроить тебя в пансионат*.

— Все будет хорошо, мама, и мы все потом здесь *распрекрасненько* устроимся,— говорила Лиза, наливая чай, не выпуская при этом сигарету изо рта. — Ты только посмотри, до чего все здесь запущено. Так жить нельзя.

Елена Петровна подумала, что без мужа она жить *распрекрасненько* уже не будет никогда, кроме того, ее коробила Лизина деловитость, но она соглашалась, что да, ремонта давно не делали. *Хорошо, в пансионат, не в дом престарелых*, думала Елена Петровна, но вслух ничего не сказала. И тоже возражать не стала. Теперь она целиком зависела от дочери. И только попросила сначала перевезти ее в эту самую квартиру, а лишь по-

том начать здесь все *крушить*. И только в этом *крушить* можно было угадать всю меру ее одиночества и отчаяния.

Снятая Лизой квартира была неподалеку, чтобы ей было *удобно следить за ремонтом*. Вот только жить в ней вчетвером было невозможно: две запущенные комнаты, одна из которых проходная, маленькая кухня. И — делать нечего — Елена Петровна напомнила Пете о его обещании. К ее удивлению, он все сделал быстро и добросовестно, и уже через день отвез ее за город, в опрятный Дом творчества в Переделкине, поселил в приветливой светлой комнатке с отдельной ванной и туалетом. И первые три дня предупредительно прожил в соседнем с материнским номере.

Мать и сын давным-давно не оставались вдвоем. У Пети на мать была колоссальная затаенная обида. Когда он — жив и бодр еще был отец — преподнес матери свою первую книжку, она, прочитав, сказала Лизе, а та передала брату, что, мол, похоже, писала все это *не очень умная женщина*. Отец же не поленился пойти в магазин, закупил две пачки экземпляров, дарил коллегам и знакомыми, гордился сыном.

Елена Петровна, рассказывал потом Петя, поселившись в Доме творчества, отказывалась покидать комнату, даже форточку упрячилась открывать, опасаясь простуды. Ходить в столовую нужно было по улице, и от этого мать тоже отказалась категорически: на дорожках оставалась наледь, было скользко, она боялась упасть. Три дня Петя носил ей из столовой еду в судках, и ему было неприятно присутствовать при том, как

мать, отказываясь снимать траурную косынку, жадно и неопратно ест.

Потом они пили чай. Нужно было о чем-то говорить. Петя сказал, что недавно перечитал Толстого, и в «Войне и мире» нашел очень много такого, чего не замечал в юности. Елена Петровна осведомилась несколько пренебрежительно, о чем именно он говорит. Ну, например, о том, как обращался с крепостными Николай Ростов, усмиряя бунт в Богучарове. То есть, Толстой если и любил так называемый народ, то *трезвой любовью*.

— Уж не спьяну, верно, — молвила Елена Петровна, показывая на фляжку с коньяком, которую Петя прихватил *к чаю*. Но вдруг вспомнила о градуснике подмышкой, завозилась. А Петя подумал: что ж, он приехал на три дня, с утра за руль не садиться.

Он стал с азартом разливать о том, как Толстой использует самые расхожие приемы приключенческой литературы. Его сюжетные ходы построены на невысказанных совпадениях: Ростов вызволяет княжну Марию, но она — сестра жениха его сестры; похищающий Наташу Курагин — брат жены Пьера, который будет мужем Наташи, и тому подобное. Эти приемчики он использует не реже, чем Эжен Сю. Но у него все эти неправдоподобия и натяжки не бросаются в глаза, как у Достоевского, кажутся естественным. Вообще, забавно, что на обе столицы огромной империи нашлись только две титулованных барских семьи, которые и переплетаются бесконечно — гениальная компактность и условность.

— Скажем, — увлекался Петя, глотая коньяк, — когда, наконец, подводы Ростовых трогаются с Поварской,

то мало того, что по чистой случайности в обозе оказывается кибитка с умирающим князем Андреем, но им при выезде на улице еще и попадается Пьер. Он же оказывается среди пленных, когда Денисов отбивает фуры у бегущих французов и когда погибает Ростов-младший...

Но Елене Петровне было не до Толстого. Ей нужно было в туалет, и она соображала, что бы такое полезное сделать *заодно*, коли все равно вставать: нужно было взять что-то в ванной комнате, но что именно — она забыла.

— Толстой был гений, — сказала Елена Петровна.

После этих трех дней, проведенных с матерью, у Пети остались самые тягостные впечатления. Он пересказал мне потом еще одну материнскую сентенцию: *ты был в юности такой не управляемый, мы с отцом думали, что тебя убьют или посадят*. Она не сказала *мы боялись за тебя*, пожимал плечами Петя, но произнесла эту дичь как будто с сожалением. И Петя вспомнил, что много лет назад с немалым удивлением услышал от нее не в свой адрес, но по какому-то постороннему поводу, что, мол, даже для того, чтобы быть преступником, *нужно иметь смелость*. Он запомнил и тон, и ее взгляд, и понимал, что она хочет сказать: *а вот ты у меня — трус*. Это тоже было несправедливо, трусом Петя не был...

Мы сидели с Петей в подвальном ресторанчике недалеко от моей нынешней и его бывшей редакции. И немало выпили. И вдруг он сказал: все дело в том, что

мой отец женился *на ней* — он часто говорил не *мать*, но *она*, — когда мне был уже год. Он не хотел жениться, это бабушка рассказывала, всегда отца не любившая, и женился только потому, по бабушкиной же версии, что все вокруг повторяли *какой красивый у тебя сын, Витя, и как на тебя похож*.

— Гордая матушка, — сказал Петя, — была, конечно, оскорблена. Но она его любила и простила его. А вот меня — не простила...

Сразу же оказалось, что за долгие годы знакомства Елена Петровна и Михаил Борисович обо всем переговаривали. И нынче, после крушения ее семьи, повседневные его интересы казались Елене Петровне и вовсе самыми незначительными и суетными. Он говорил о постройке бани, и во что это ему обойдется. О том, как приходится тратиться на ремонт старенькой машины. И что жизнь дорожает. Кроме того, он часто вспоминал перипетии своей неинтересной куцей жизни, которые Елене Петровне к тому же были давно известны. Она не понимала, отчего Миша будто кичится пережитыми огорчениями, которые и бедами-то не повернется язык назвать. Любая жизнь трудна, и былых страданий скорее нужно стесняться, а побед не было ни у кого. У него уж точно, если не считать таковыми мелкие стычки на педсоветах, из которых он выходил по его словам героем. Наконец, однажды за завтраком Михаил Борисович поинтересовался, сколько у нее есть с собой денег. Оказалось, что денег у Елены Петровны нет.

— Ведь твой муж хорошо зарабатывал, — с ужасом, почти в панике воскликнул Михаил Борисович.

Она стала сбивчиво объяснять, что, конечно, после Вити кое-что осталось, но все это у Лизы, и что Лиза дала вот ей с собою пятьсот рублей, но *я ведь тебе, Миша, их отдала.*

— У меня ничего больше нет, — сказала Елена Петровна с некоторым удивлением: ей казалось, что если она согласилась на его уговоры и приехала к нему, то деньги ей не нужны. — Я думала, пятисот рублей на первое время достаточно, — добавила она робко.

— Пятьсот рублей! — крикнул Михаил Борисович и страшно, театрально захохотал. — Пятьсот рублей!

Петя узнал о том, куда Лиза *справила мать* — последним. И ужаснулся. Он даже не стал вдаваться в объяснения с сестрицей. В его сознании поступок матери, сбжавшей к *полюбовнику*, — отчего-то в этом случае он употребил именно этот устарелый оборот, — еще не сняв траур по отцу, был чудовищен. И эта чудовищность в его воображении, особенно когда он выпивал, разрасталась до чрезвычайных размеров. Он безотчетно полагал, что его мать должна была себя вести как безутешная вдова, *храня память*. Когда он все это высказывал, горячась, даже его милая спокойная жена Ольга не смогла сдержаться:

— Ты об этом говоришь так трагически, будто твоя двенадцатилетняя дочь потеряла невинность.

Петя посмотрел на нее, не понимая, и сказал только:

— Хуже, это еще хуже...

А мне он потом, несколько успокоившись, сказал проще:

— Конечно, это все гадость. И кончится какой-нибудь гадостью, я чувствую. Я ведь этого прохвоста с детства знаю. Он и учителем-то был малограмотным. Но матушка всегда считала его безнадежно влюбленным романтиком, прощала убогость, а он за ее спиной у отца без конца червонцы сшибал. Но отец никогда об этом ей не говорил. Не хотел, так сказать, разрушать замок грез...

И Петя оказался прав.

Разговор о деньгах произошел у Михаила Борисовича и Елены Петровны день на третий ее пребывания у него на даче. И постепенно, не понимая еще, что происходит, Елена Петровна улавливала какие-то неприятные перемены в его отношении к ней. Во-первых, он стал раздражителен и постоянно указывал ей, что она все делает *не то*. Она не так двигалась, не так ела, не туда бросала использованные салфетки в его уличном деревенском, тесном Елене Петровне, туалете.

— Миша, я старая, — говорила Елена Петровна с мягкой улыбкой, как бы извиняясь за это. — Не сердись, голубчик.

*Голубчик*, однако, поглядывал на нее злобно, иногда цедил *прости, устал, нервы*. От чего он так устает, Елена Петровна не знала. Понимала, конечно, что он просто очень любит самого себя невесть за какие достоинства, и удивлялась самой себе, что за долгие годы не могла разгадать в предупредительном Миша сребролюбивого и черствого человека. И считала дни, когда ее от него заберут. От разочарования в Мише и от стыда за себя и за свою доверчивость она даже иногда украд-

кой плакала, хотя очень редко давала волю слезам. Теперь она ждала от *Михаила*, как стала она его про себя называть, *чего угодно*. Но все-таки не угадала, каким позором дело кончится.

Однажды он вошел на веранду с перевернутым лицом и дрожащими от сдерживаемой злости губами. И раздельно спросил:

— Ты пользовалась туалетом?

Елена Петровна растерялась и сказала, что да, наверное, пользовалась. Скорее всего...

— А ты знаешь, что я его рано утром мыл?

— Да, там было чисто, — сказала Елена Петровна, краснея, уже предчувствуя что-то постыдное.

— Так зачем же ты его обосрала?! — завопил неистово Михаил Борисович. — Старая дура, маразматичка... Нет, у меня сейчас будет insult, — пообещал он кому-то невидимому.

Елена Михайловна поднялась с дивана, на котором сидела, шагнула вперед, отодвинула скорбного Михаила Борисовича, вышла на крыльцо. Потом произнесла твердо:

— Позвони Лизе.

— Да пожалуйста. Только на хрен ты ей нужна...

Но взял трубку сотового телефона и позвонил.

Забирать Елену Михайловну приехал ее новый зять. Она уже сложила свой чемоданчик и терпеливо просидела на крыльце больше двух часов. С Михаилом Борисовичем больше не сказала ни слова.

Когда зять приехал и погудел у ворот, она поднялась на ноги. Зять взял чемодан в одну руку, другой поддерживал тещу.

— Вы ничего не забыли, Елена Петровна? — спросил он предупредительно.

— Ничего, — сказала она и стала тяжело протискиваться на переднее место, рядом с водительским.

Но Лиза обнаружила-таки, что в доме Михаила Борисовича осталась маленькая микроволновая печь, которую тот у Лизы выпросил. За этой самой печью определили съездить Петю, как он ни упирался: ни сама Лиза, ни ее муж не могли отпроситься с работы. Петя позвонил мне:

— Слушай, поехали вместе. Я не могу видеть этого пакостника. Я с этой скотиной что-нибудь сделаю...

Мне была эта поездка очень некстати, тем более, впрочем, я уже не однажды оказывал Пете услуги, когда он попадал в щекотливые ситуации, а он по этой части был мастак. Но Петя заверил, что мы уложимся в полтора часа, туда — днем, когда еще люди не едут на дачу, а обратно как раз тогда, когда никто не едет в Москву. Все это была пропаганда: мы больше часа стояли в пробке при пересечении Ярославского шоссе и окружной дороги. Однако, как оказалось, Петя очень правильно сделал, что уговорил меня поехать с ним.

Петя позвонил этому самому Михаилу Борисовичу с дороги, предупредил, тот, видимо, что-то возражал, но Петя сказал жестко:

— Поговорим на месте.

Естественно, Петя на этой даче никогда не был, и мы долго искали нужный дом. Потом Михаил Борисович долго не открывал, пытаясь разговаривать с нами, стоя за закрытыми воротами. Петя объяснил ему, что перемахнуть через забор нам ничего не стоит. Тот видно что-то прикинул — нас все-таки было двое относительно молодых мужчин, а он был одинокий старик. И открыл. Но сразу же заявил, что удерживает эту самую печь за *проживание*. Вот тут-то пригодился я.

Я оттеснил Петю, не давая ему больше рта открыть. Спросил, в какую цену в сутки оценивает Михаил Борисович постой в его разрушенной старой даче. Он стал плести что-то о том, что у нас в *Валентиновке* в месяц комнату с верандой сдают за шестьсот долларов.

— Вот и считайте, — сказал он.

Я достал сто долларовую бумажку. — Сдача будет?

Старый идиот вынул из штанов потертое портмоне и стал копаться в рублях.

— Несите печку.

Не знаю, отчего он меня послушался, наверное, возбудился от вида стодолларовой купюры, поплелся за печкой, попросив нас подождать у ворот. Когда он вернулся, я взял печку, осмотрел, спросил — работает ли. Он заверил, что *как новая*. Я передал печку Пете, спрятал купюру в карман и закрыл ворота под носом у Михаила Борисовича. Он завизжал, но не сразу смог ворота открыть, а когда выбежал на улицу, мы уже тронулись. Под колеса Михаил Борисович благоразумно не полез. Только кричал:

— Значит, она задаром жила, задаром?

Когда мы чуть отъехали, Петя попросил меня сесть за руль. А сам вынул припасенную фляжечку. Руки у него ходили ходуном.

Елена Петровна умерла ровно на двадцатый день после своего возвращения к Лизе. Умерла в нанятой квартире на чужой кровати. Сделанного Лизой *евроремонта* она так и не увидела. Последнюю неделю была в беспамятстве, иногда, очнувшись, неразборчиво звала мужа, плакала, ходила под себя. Лизу она не узнавала...

На кремацию тела матери Петя не пришел.

### **ПРОВИНЦИАЛКИ — ЭТО ОМУТ**

Вспоминая об этой истории, Елена Петровна всякий раз смотрела на сына не без удивления и сожаления. А вспоминала она об этом часто, даже перед самой смертью. Так у них в семье это и обозначалось — *алка*. Это имя произносилось как нарицательное, как говорят *бордино* или *ватерлоо*, не имея ввиду лишь географическое название или историческое событие, но нечто неизмеримо большее, перевернувшее жизнь народов и оставившее след в памяти поколений. Наверное, у нее так никогда и не уместилось в голове, как такое вообще могло произойти не просто в ее семье, но в самом мире Камневых. И дело даже не в сословных предрассудках, которые Елене Петровне были, не скрою, свойственны, но в простой житейской логике. Она не могла понять, как *их* Петя с такой непостижимой легкостью преодолел границы мира, в котором вырос и в котором был воспи-

тан, и освоился в существовании ему не просто чуждом, но враждебном. Елене Петровне, весьма смутно представлявшей себе бытие и прозябание за окнами ее квартиры, внешняя уличная жизнь казалась, разумеется, низкой, грубой и грязной, каковой, впрочем, по большей части и была. Ей как-то не приходило в голову, что Петя в отрочестве не только читал английские книжки, валяясь на тахте или развалившись в кресле, пил семейный чай, играл с отцом в шахматы по вечерам, свертывая у Брокгауза с Эфроном, рассматривал семейные альбомы, мусолил страницы тяжелых дореволюционных, с папиросными прокладками, томов репродукций передвижников, но гонял в футбол во дворе отнюдь не с профессорскими детьми и бегал за девчонками отнюдь не самого строгого воспитания и с представлениями о морали, скажем деликатно, облегченными. И уж вовсе не могло прийти ей в голову, что у примерного Пети уже в ранней молодости могли проявиться не только склонности к бунту против родительской опеки и вообще против всяческой благопристойности, но и тяга к простым удовольствиям и грубоватым радостям жизни. А если бы Елене Петровне сказали, что, вполне возможно, даже у ее мужа в юности бывали не всегда высоконравственные, но порочные поползновения, скажем, интерес к домработницам или продавщицам хлебобулочных изделий, она рассмеялась бы и сказала, что это хорошая шутка. Однако Елена Петровна была женщина сильная и здравомыслящая, со здоровым юмором, и умела выходить из самых затруднительных положений достойно. Что мы сейчас и увидим...

Это случилось с Петей на первом курсе факультета журналистики, куда он поступил, скажу к слову, обманным путем. Дело в том, что в своей специальной *английской* школе Петя вовремя не вступил в комсомол. Нет, не из каких-то принципиальных соображений, а именно что по склонности к протесту против общепринятого. Скорее всего, уже в ранней юности он относился скептически к советской идеологии, но не до такой степени, чтобы играть в подполье, идти на площадь или на улицах клеить листовки. Петя всего лишь разделял общее фрондерство, присущее его среде. И пренебрег комсомолом только потому, что такое мероприятие, как *комсомольское собрание*, казалось ему не просто идиотизмом, но и верхом дурного вкуса. Это был даже не нигилизм, а всего лишь юношеский индивидуализм. К тому же, Петя все-таки был очень юн, и никакой жизненной программы, конечно же, не имел. Впрочем, эта его склонность к бунтарству с годами не совсем исчезла, и много позже, когда все вокруг вдруг стали православными, Петя, крещенный в шесть лет своей нянькой, вдруг покинул церковь по причине того, что клир занимается *не Богом, а интригами*. Короче говоря, Пете пришлось дать первую в его жизни взятку комсомольскому вожаку школы, купив на сэкономленные из карманных расходов деньги бутылку французского коньяка — как раз тогда, впервые за послевоенные годы, в продаже появился *Мартель* в красивых матово блестящих черных коробках. Ему был выписан фальшивый комсомольский билет, и фокус этот благополучно удался. Удался по той простой причине, что никому не могло прийти в голову, как может советский

школьник не состоять в комсомоле и при этом переться на заведомо *идеологический* факультет журналистики.

Так или иначе, Петя переступил университетский порог. И очень скоро обнаружил, что научить здесь ничему новому его не смогут. Что ему было ходить на скучнейшие лекции профессора Западова по русской литературе восемнадцатого столетия, когда даже Ломоносова Петя мог цитировать обширными кусками

*Монарх наш преходя Онежских крутость гор  
Свой пронизательный кругом возводит взор,—  
хоть предпочитал начало последующего века  
Не лес завывает, не волны кипят  
Под сильным крылом непогоды:  
То люди выходят из Киевских врат,—*

не говоря уж об *Анакреотических песнях* или балладах Жуковского, каковое знание передалось ему от деда, с отличием окончившего некогда Александровский лицей, через отца, и от бабки-смолянки, то есть досталось по наследству.

Не удивительно, что общительный Петя, чем на лекциях, все больше ошивался в университетской курилке и очень скоро перезнакомился не только с сокурсниками, но и со студентами постарше. И оказался, разумеется, в гостях в общежитии зоны В Московского университета на Ленинских горах. Там жили иногородние старшекурсники и аспиранты филологического и журналистского факультетов. То есть не столько жили или, упаси Господи, учились, но пьянствовали, напропалую трахались и ночами играли в преферанс.

Вообще говоря, в общежитии Пете делать было нечего. Совершенно такой же точки зрения придержива-

лось и университетское начальство: посторонних в общежитие старались не пускать. Но Петя, парень крупный, выглядевший старше своих лет, легкомысленный, веселый и нахальный, покупал в гастрономе университета батон белого хлеба и смело шел мимо вахтеров и членов добровольного студенческого *оперативного* отряда, откусывая от батона на ходу. Этот прием срабатывал безотказно, потому что обитатели общежития были вечно голодны, тогда как их посетители на ходу не ели. Петя был желанным гостем. Его то и дело заманивали в общежитие старшие соученики по факультету — расписать пульку. По молодому тщеславию ему льстила дружба старших товарищей. И его, профессорского сына, нещадно обдирали, *обували*, как было принято говорить, поскольку играл он из рук вон плохо и был типичным *лохом*.

В своей зоне обитатели жили по двое в тесных блоках из двух комнаток с общим душем и туалетом. При тогдашней коммунальности московского быта это было очень даже неплохо. Нехитрую свою пищу студенты готовили на общей кухне в конце коридора, смежной с общей же гладильней. В тот роковой для семьи Камневых вечер Петя слонялся по коридорам общежития, поскольку его дружков по преферансу на тот момент не оказалось дома. И забрел зачем-то в пустую гладильню. Там Петя застал дивную картину: на гладильном столе лежала опрокинутая на спину спящая красавица с задранной чуть не до пупа юбкой, в приспущенных трусах, и глаз было не отвести от ее зрелых, блестящих и влажных, крупных ляжек. Разбуженная посторонним присутствием, она, не открывая глаз и не одергивая юбку, не-

разборчиво попросила помочь ей добраться до ее комнаты. Когда девица, в дрезину пьяная, встала на ноги, то сделалось ясно, что без посторонней помощи до своей комнаты она и впрямь не добралась бы. Когда они нашли-таки ее жилище и отомкнули дверь, красавица, выпущенная Петей из рук, запорхала, ударяясь о косяки и углы, пока не повалилась на постель, шепнув *иди ко мне*, и тут же опять отрубилась. Ломая голову над тем, как эта дама оказалась в гладильной комнате, Петя присел на краешек кресла. *Конечно, ей же стало плохо*, сообразил он. И остался.

Была эта дама, как скоро выяснилось, удамой дева-хой с Урала, из-под Свердловска что ли, из городка с удмурдским или башкирским названием, типа Ревда или Тавда, вокруг которого уютно расположились лагерь с осужденными уголовниками. Училась она на последнем курсе смежного с Петиним филологического факультета и уже писала дипломную работу о творчестве своего земляка, пермского старообрядца Решетникова, пригретого некогда Некрасовым и умершего от запоя в Петербурге после того как он получил в *Современнике* несусветный для фабричного крестьянина гонорар за роман *Подлиповцы*. Он умер от скоротечной чахотки, простудившись на сырой лавке, на которой ночевал, выйдя из кабака. Совсем как Эдгар По. Но это к слову.

Петину пессию я, конечно, никогда не видел, все это было задолго до нашего с ним знакомства. Так что всю последовавшую за этой встречей в гладильном помещении историю, довольно темную и тщательно скрываемую в семье Камневых, я знаю даже не от Пети,

а из третьих рук, от Петиных соучениц. Потому что это Петино приключение в рамках факультета журналистики было скандальным, впрочем, эти стены и не такое видели. Реконструируя, можно нарисовать следующую картину.

Лиза, которой было тогда десять лет, уверяла позже, что Петина избранница была *ничего себе*. Полагаю, это была нахальная провинциальная бабенка со смазливой мордашкой и с короткими кривыми ногами, но это лишь догадки. Так или иначе, но семнадцатилетний Петя втюрился в двадцатидвухлетнюю провинциальную девицу, которой страсть как не хотелось после пяти развеселых лет, проведенных в общежитии МГУ и в московских кабаках, отправляться обратно на Урал в качестве школьной учительницы литературы: студенткой она была нерадивой, и аспирантура ей не светила.

Девушку звали Альбина Васильевна Посторонних. Теперь представьте себе на минуточку милый уральский городок Ревда. Это такая впадина посреди будто опаленной взрывом метеорита рыжей тайги, уставленная бараками и навсегда затянутая ядовитым и вонючим смогом, который производит единственный в этом месте *градообразующий* комбинат, изготавливавший какой-нибудь керамзит. И в этом городке, в барачной комнате, отведенной в видах размножения молодому комсомольскому вожаку цеха обжига Василию Посторонних, скуластому человеку уральской наружности, рождается резвая девочка килограмма на два с половиной, что по местным истощенным меркам считалось совсем неплохо. Девочка выживает. И ребром встает вопрос, как ее назвать И здесь нужно напрямь фанта-

зию, чтобы сообразить, каким образом Василию Посторонних и его молодой деревенской жене Марии залетает в их пролетарские головы заморское имя Альбина, и в святцах-то не значащееся,— впрочем, молодые были атеистами. На этот вопрос у меня нет ответа. Очевидно, это можно объяснить лишь тягой товарища Посторонних к культуре и его занятиями самообразованием. Потому что пока его товарищи с полочки пили самогон с пивом, Василий Посторонних читал книги. Не читал даже, но *работал* с ними. Он так и говорил, мол, *сейчас прорабатываю Максима Горького*. Повышенный по сравнению с его окружением культурный уровень Василия Посторонних позволил ему подняться по партийной лестнице, и ко времени обучения его дочери не где-нибудь, а в самом Московском университете, куда ее приняли за отличные оценки в аттестате и пролетарское происхождение, он был уже вторым секретарем райкома партии. *Элитой*, как говорят нынче. Вот таких-то голубых кровей девушка и охомутала Петю, который к тому времени не достиг даже совершеннолетия.

И здесь я попытаюсь вообразить по возможности, каким был Петя, только-только получивший аттестат зрелости в своей специальной школе, в свои семнадцать лет. Немногие юноши нашего поколения и интеллигентского воспитания в те годы с юности собирались заделаться писателями. Скорее, это было стремление, свойственное провинциальным офицерским или номенклатурным детям, что на первый взгляд странно. Но только на первый: получая в детстве в семье хороший корм из добротных пайковых продуктов, военные и

партийные дети в то же время были лишены пищи духовной, и те из них, кто тянулся к культуре — инстинктивно, были своего рода самородками, избранными в своей среде. То есть в их обстоятельствах счастливо сходились несколько условий: возможность не заботиться о хлебе насущном и сознание своей исключительности, что отчасти было следствием социальных и провинциальных комплексов, то есть болезненно обостренное тщеславие, что для писательства, думается, абсолютно необходимо. В интеллигентских же, тем более дворянских, семьях послевоенные дети жили не только в относительной холе, но в атмосфере естественного творчества все сочиняли, рисовали, танцевали и играли на фортепьяно, то есть самодеятельные занятия искусством были столь же обыкновенны, как привычка держать за столом нож в правой руке. Поэтому в этом кругу отпрыски если и писали стихи, то не всерьез, а походя и на случай, а, выбирая профессию, устремлялись, как правило, на стезю академическую. Так что Петя был скорее исключением в своем кругу, когда размышлялся о таком разночинном и дамском нынче ремесле, как писательство, и он подался не на филологический, не в МГИМО и даже не в Иняз, как многие его школьные дружки, но именно на журналистику. В те наивные годы отчего-то считалось, что журналистика и беллетристика вещи весьма близкие, по сути дела — одно и то же. К тому же он еще в школе сочинил целый цикл рассказов, который красиво назывался *Записки на клочках цветной бумаги*.

И вот он, Петя Камнев, идет по московским бульварам, жадно вдыхает бензинные запахи июньского го-

рода, отплевываясь от тополиного пуха. На носу вступительные экзамены, но Петя о них не думает; он небрежен и восторжен, он носит с собою записную книжечку и карандаш, он записывает почти детскими каракулями свои невинные впечатления типа *проплыло облако, поджаренное снизу*. В нем странно сочетается несколько хулиганистый авантюризм с восхищенной восприимчивостью. Как пишут о таком типе в романах: у него была внешность юного мачо, но душа ребенка. Впрочем, романтичен он не без доли здорового цинизма, но — фантазер, мечтает о том, какие талантливые книги он напишет. Он наизусть знает несколько рассказов Хэмингуэя, но отчего-то еще не читал *Жизнь Арсеньева*. Много рассуждает о прозе, о *деталях* и *ритме*, правда, еще не задумывается, детали *чего*, собственно, он будет описывать. Литература видится ему приключением сродни морскому путешествию, а сам автор — непременно герой и баловень женщин. То есть, в воображаемой фигуре писателя, каким собирается стать Петя, есть нечто отчетливо гумилевское, что-то от охотника на львов в саванне, вот только Гумилева он пока еще плохо знает и путает *саванну* с *сафари*. Впрочем, *если будете в Брабанте* Петя помнит со школьной скамьи, а также

*И взойдя на трепещущий мостик,*

*Вспоминает покинутый порт,*

Отряхая ударами трости

*Ключья пены с высоких ботфорт,—*

но точно не знает, где находится этот самый Брабант с его кружевами, и никогда еще не пробовал кьянти. Он пока что не влюблен и свободен. Короче, Петя

Камнев был по всем статьям счастливой находкой для Альбины Васильевны Посторонних. Ибо она уж совсем отчаялась составить себе московскую партию. Единственный жених-москвич Сережа, с которым она упорно спала два года без использования средств контрацепции, и который уже познакомил ее с мамой-терапевтом — остальные все были случайные общежитские, — этой зимой в последний момент сорвался с крючка и неожиданно, подлец, женился на своей бывшей однокласснице.

Дальнейшая реконструкция событий для нас легка, но огорчительна. Вот скажем несколько невероятное обстоятельство: юный Петя, будучи *лохом* отнюдь не только в преферансе, искренне поверил, что Альбина Васильевна была невинна, потому что после первого соития она стыдливо предъявила ему простыню в кровавых разводах — скорее всего, подгадала их соединение к своим месячным. Факт лишения Альбины им, Петей, девственности на него сильно подействовал: он почувствовал мужскую гордость и взрослую ответственность за судьбу девушки. Впрочем, надо отдать Пете должное, ему хватило ума на первых порах не оповещать родителей о его большой и светлой, первой в жизни, если не считать необязательных одноклассниц, любви. Вторым его неверным шагом по дорожке в омут стало посещение им родного дома суженой — отцу он наврал, что идет в *турпоход*. Альбина Васильевна отвезла Петю к родителям, которые в те годы уже перебрались из Ревды в Курганскую область, так кажется. Можно лишь догадываться, что делал Петя на Урале в доме секретаря райкома: катался на тройках с бубен-

цами, закусывал пирогом с визигой щи, сваренные из на его глазах выловленного во дворе и казненного путем усекновения головы петуха, пил водку, а также принял в дар от будущего тестя, чуть придурковатого художника злого мужика со свекольно красными щеками, шапку-ушанку из выловленной в местном болоте ондатры. Что ни день, будучи к вечеру не в состоянии самостоятельно выходить из-за обильного стола, Петя бывал укладываем на пуховые перины рядом с Альбиной Васильевной. Будущая теща, толстая, хитроватая и суетливая напоказ, наливавшая Пете водки уже за завтраком, приговаривала со свойственной простонародным теткам притворной сладостью, всегда скрывающей какой-нибудь мелкий расчет, что, мол, *заглянула утречком за занавеску, а вы там спите ровно ангелочки...* Шапку, впрочем, по возвращении в Москву у Пети украли в университетском гардеробе, что отчего-то поселило в Пете еще большее чувство обязанности. Еще бы, совратил девушку, неблагодарно потерял подарок ее отца, врученный от чистого сердца,— ясное дело, при таком раскладе порядочный человек должен жениться. И здесь Петя, поскольку он не мог по возрасту вступить в брак без разрешения родителей, был вынужден взять тайм аут в ожидании дня совершеннолетия, который должен был последовать только в конце апреля. К тому же, поскольку он был влюблен и привязался к Альбине Васильевне, как приبلудная собачонка, форменное предложение руки и сердца он уже произнес, сидя пьяным за курганским столом.

Но Альбина Васильевна Посторонних ждать не могла. У нее не было времени на ожидания, поскольку

уже в марте должна была состояться предзащита диплома и произойти предварительное распределение. Получить так называемый *свободный диплом* ей, провинциалке, возможно было, только выйдя замуж. К тому ж она уже обожглась на одном москвиче-подлеце. Короче говоря, Альбина Васильевна Посторонних должна была форсировать события. И она решилась на отчаянный шаг, который был весьма рискованным, но, как ей казалось, единственно необходимым в ее положении. В один прекрасный день она заявила в семейство Камневых, не оповестив об этом Петю, и объявила Елене Петровне, что ждет ребенка от ее сына.

Должно быть, это была сцена, каковую способна была бы передать на холсте только кисть какого-нибудь Федотова. Елена Петровна, справившись с некоторой, понятной в этом случае, оторопелостью, предложила гостю чаю с бисквитом и между делом поинтересовалась, *каков срок*. Альбина Васильевна отчего-то этот вопрос не предусмотрела, и, подумав, заявила, что она на шестом месяце. Будущая счастливая бабушка внимательно посмотрела на ее талию, потом столь же внимательно посмотрела будущей молодой матери в глаза и ничего не сказала. Она лишь спросила, как давно девушка знакома с *нашим Петей*. Оказалось, что давно, с осени, что выглядело несколько странно, если сопоставить сроки.

— И вы, наверное, собираетесь за него замуж? — спросила прозорливая Елена Петровна.

— Мы собираемся пожениться, — сказала Альбина Васильевна, потупившись, и торопливо добавила, поскольку была глуповата, — мои родители согласны.

— Это хорошо, что согласны и не имеют ничего против, — с расстановкой похвалила гостью Елена Петровна, продолжая ее разглядывать, похвалила, наверное, за оперативность и хорошую подготовленность. — Только знаете ли вы, голубушка, сколько вашему жениху лет?

Альбина Васильевна сказала, что знает, *но в случае беременности с разрешения родителей...* Она не договорила, поскольку в этот момент в квартиру вошел сам Петя. Он в изумлении уставился на Альбину Васильевну, потом взглянул на мать, которая, прямя спину, сидела в кресле с иронической, как Пете показалось, ухмылкой, бурно покраснел и пролепетал *познакомься мама, я ее люблю.*

— Такое чувство украшает мужчину, — невозможным тоном отозвалась мать. — Ты не волнуйся, мы уже познакомились с... Как вас?

— Альбина Васильевна, — пролепетала невеста, отчего-то назвав свое отчество, как в отделе кадров, и чувствуя, что, кажется, проигрывает этой высокомерной даме.

— Вот только жениться ему рановато, Альбина Васильевна, — сказала Елена Петровна, притворно вздохнув и сплеснув руками.

— Да я же.., — беспомощно воскликнул было Петя.

— А я не с тобой разговариваю, — отрезала мать. Посмотрев на нее еще раз, Петя запнулся, проглотил комок в горле и заткнулся. И тут Елена Петровна сказала настолько жестокую для Пети вещь, что он как-то сразу понял, что она говорит правду. — К тому же, она тебя не любит, Петя. Ей нужен не ты, ей нужна Москва.

— Да сдалась мне эта ваша Москва, — выкрикнула зло Альбина Васильевна, и добавила в отчаянии, — сами в ней живите.

— А ребеночек — это хорошо, у нас в доме любят детей, — невозмутимо продолжала Елена Петровна. — Так какой вы говорите у вас срок? Вы, конечно, принесли справочку? — задала Елена Петровна иезуитский вопрос.

*Справочки у Альбины Васильевны Посторонних, разумеется, не было, как не было и самой беременности. Наверное, она почувствовала себя пойманной, потому что вид у нее был жалкий и злобный, как у загнанной в угол крысы.*

— Ну, спасибо тебе, Петенька, — прошипела она, и Петя вдруг испытал прилив отвращения к ней, отвращения, странно смешанного с жалостью и болью. Альбина Васильевна поднялась и сказала торжественно: — Что ж, я уйду. Спасибо за чай, — сказала она Елене Петровне, но та не удостоила ее ответа. И Пете: — Можешь не провожать.

Но Петя и так стоял как каменный, только предательские слезы катились по его щекам...

На этом, собственно, история и заканчивается. Отец Пети Камнева, едва узнал, в чем дело, запер паспорт Пети на ключ в ящике стола. Альбина Васильевна Посторонних не избежала распределения и, с опустошенным сердцем и разбитыми надеждами на московскую прописку, отбыла-таки по месту постоянного проживания, за Урал. Петя же, будучи подвергнут домашнему аресту, как-то притих и стушевался. Дело даже не в том, что в отсутствии физического контакта с люби-

мой, он несколько успокоился: Альбина Васильевна сноровисто поддерживала костерок его страсти, выработав у Пети привычку к своим ляжкам и к утехам, скорее всего самым бесхитростным. Дело в том, что он был совершенно опустошен и истощен — и физически, и духовно, как будто побывал во вражеском плену. И сил к продолжению борьбы за собственную самостоятельность у него на то время никаких не осталось. К тому же, Пете было чем отвлечься, ему пришлось засесть за учебники, потому что над ним всерьез нависла угроза отчисления: он целый год не занимался, пропускал лекции, и даже умудрился в зимнюю сессию завалить экзамен по английскому языку, опрометчиво понадеявшись на свои школьные запасы.

Самым важным итогом этой истории было то, что Петя вспоминал с отвращением даже не саму свою соврачительницу — а это было натуральным совращением,— но ее методы шантажа мнимой беременностью. Сама идея деторождения и продолжения рода теперь оказалась для Пети даже не просто скомпрометированной, но была оскорбительна. И по прошествии многих лет, став зрелым мужчиной, он утверждал не без экзистенциалистского пафоса, что рожать детей, обрекая их на здешнюю юдоль печали — преступление. И не для того Господь одарил единственное из животных, человека, даром получать наслаждение от совокупления, чтобы тот размножался как скоты и насекомые.

## НОЧНЫЕ МАССОВЫЕ СЦЕНЫ СЛАЩЕ ДНЕВНЫХ

Однажды, в начале нашего знакомства, мы сидели в подвальном баре в Доме архитекторов, пили пиво и говорили о *мовешках* — так Петя, не без иронии в собственный адрес, называл своих случайных подруг, позаимствовав словцо из лексикона папаши Карамазова. Я высказал на эту тему какое-то необязательное соображение, что-то в том духе, что бегать по бабам, если тебя уже за тридцать, — Пете, впрочем, еще не было тридцати, — утомительное и неблагодарное занятие, занимает слишком много времени и отнимает слишком много сил. Считая Петю записным донжуаном, я, конечно, не стал говорить, что сам — скорее однолюб. Впрочем, меня никто особенно ни о чем и не спрашивал. Наше приятельство чуть не с первых дней, притом, что я на три года Петю старше, складывалось так, что я все больше помалкивал и мотал на ус, а разговорчивый Петя повествовал о своих похождениях. Впрочем, однажды он обмолвился с досадой, что эта страсть к устным рассказам его подводит и вредит его писательству: он *растрачивает материал*, так он выразился.

— Знаешь, — ухарски сказал я, стесняясь скромности своих успехов по дамской части, — я не записываю телефонный номер женщины, начиная с четверки.

— Что значит — с четверки? — удивился Петя.

— С четверки и дальше: с пятерки, с шестерки. Так начинаются номера в спальных районах. Очень уж далеко ездить.

— Ты ленивый циник, — сказал Петя. — Женщина, если она нужна, может жить даже на другой планете.

— Это романтично.

— Не говори банальностей.

— Не понятно только, —гнул я свое, — зачем в таком случае тебе их так много?

—Ну, я вовсе не рекордсмен, я знал настоящих, вдохновенных ходоков. У меня есть знакомый, который только официально женился восемнадцать раз. И я не романтик. Я всего лишь затравленный путешественник,— пояснил Петя иронически,— путешественник, бредущий от женщины к женщине. Для таких, как я,— это не спортивная охота ради охоты, даже не жажда новых впечатлений. Нас гонит страх. Мы боимся остаться наедине с собой. И из страха же расстаемся с женщинами. Страх — вот причина любого путешествия и любого побега. — Он помолчал, вспоминая. — Кажется, Вольтер говаривал, что единственный подвиг любви — это бегство.

Мы помолчали, я переваривал Петины афоризмы, запивая их пивом *рижское*. Возможно, про страх — тоже была скрытая цитата из неизвестного мне источника.

— Ты вот говорил о расстояниях, — сказал Петя. — И я вдруг вспомнил одну историю, которую, кажется, и забыл давно. А сейчас пришло на ум. Та девица очень далеко и неудобно жила...

Он начал рассказывать, причем воспоминания так захватили его, что на рабочие места мы в тот день так и не вернулись. Впрочем, Петя уже тогда использовал избитый прием заядлых прогульщиков, оставляя на спинке стула в своем кабинете старый пиджак.

Перескажу, как я запомнил этот рассказ. Началась все с того, что второкурсник Петя Камнев, чем грузить

мешки на станции Москва-Товарная, где промышляли некоторые его соученики, подрабатывал, что снимаясь в массовых сценах в кино, благо киностудия от его дома была в четырех троллейбусных остановках. За дневные съемки платили три рубля, за ночные пять. По незнанию он для начала снялся в фильме о конструкторе ракет Королеве — днем, на натуре, на каком-то загородном пустыре, где страшно промерз. Потом — в павильоне, в картине по несправедливо забытому нынче роману *Города и годы*, и если бы автору сказали, что из вполне прилично начинавшего писателя он превратится в секретаря и орденоносца, а писать бросит вовсе, запершись на даче в Переделкине, он, наверное, не поверил бы. Когда Петя сообразил, наконец, что выгоднее будет выходить на съемки в ночь, он в последний раз согласился поучаствовать в дневной костюмированной массовке в фильме *Чипполино*. Согласился лишь потому, что ему дали персональную роль Стручка, к тому же, на съемках присутствовал сам любимец советской детворы и партийного начальства, автор сказки про революционную луковицу синьор Джанни Родари...

Тут Петя впал в азарт, рассказывая о тех незабвенных днях и ночах ранней молодости, что он провел на центральной киностудии страны, и мы взяли водки и бутербродов с семгой. Петя со смехом сказал, что бывал на студии так часто, что успел почувствовать себя кинозвездой. Ночные его воспоминания и впрямь оказались красочнее дневных. По его словам, именно по ночам отчего-то снимались самые упоительные сцены — причем не только в павильонах. Скажем, в комедии по пьесе Булгакова Петя играл стольника в сцене пира в пала-

тах царя Ивана Васильевича, таскал на подносе огромного жареного осетра и даже плясал на заднем плане, размахивая рукавами кафтана. Тут же в роли дьяка подвизался кривоватый на один глаз комик Крамаров, который потом неожиданно оказался евреем и *сбрызнул*, как выразился Петя, в Штаты, где исполнил пару ролей советских косых гадов из КГБ в антисоветских боевиках. В павильоне он то и дело обращался к режиссеру за инструкциями, а когда тот его о чем-то спрашивал, то с важным видом отвечал, что, мол, ему надо *справиться* в своем архиве. Он был хоть и комический актер, но серьезный деятель искусств, что видно из дальнейшей его биографии. В другой раз для какого-то заурядного детектива снимали ресторанный сцену. Съемки проходили ночью в зале легендарного в те годы в Москве кабака *Лабиринт*. Роль ресторанной певички исполняла начинающая звезда, позже ставшая исполнительницей так называемых *народных* песен; тогда она еще не имела в мужьях легендарного советского шпиона, дружившего на Кубе с Хэмингуеем, но уже обладала роскошным крупом.

Конечно же, Петя таскался по этим съемкам вовсе не из нужды, на хлеб с маслом ему зарабатывать было не нужно. И, хоть и был он бедным студентом, эти трешки и пятерки сразу разлетались и прогуливались, уходили на такси и на выпивку. Петя бегал на студию даже не из любопытства, сам производственный процесс съемок фильма скоро показался ему занудным настолько, что приходилось удивляться, как из этих мешанины и неразберихи, бесконечных скандалов съемочных групп с осветителями, которые не желали оставить

ся сверхурочно ни на минуту без дополнительной платы, может родиться что-то путное. Нет, не в кино было дело, а в скуке, в постоянно глодавшем Петю чувстве юношеской неприкаянности. После истории с Альбиной Васильевной Посторонних Петя чувствовал какую-то душевную загрязненность, смутное отвращение и к самому себе, и ко всему, что его окружало. И в университете он теперь тоже видел только рутину, а в самой своей жизни — только глупую обыденность. Он перестал ходить в общежитие играть в преферанс. Он даже книги перестал читать, чувствуя себя бездарным ничтожеством рядом с великими. И беспомощными теперь казались ему его первые опыты в прозе, так что и о писательстве он перестал помышлять... Тут я задал ему вопрос, кого он, собственно, называет *великими*. Петя без запинки отрапортовал, что *таковых, пожалуй, только трое: Гомер, Сервантес и Рабле. Заметь*, сказал Петя, *во всех трех книгах содержание сводится к описанию странствия, поиска и жажды обретения, к метафизическому возвращению.*

— А Толстой? — спросил я, зная Петины пристрастия.

*Да*, сказал Петя, *странствия и метания Пьера по Бородинскому полю из этого же, пожалуй, ряда. Впрочем, этого оказалось видимо недостаточно, вот Толстой и отправился из Ясной Поляны в свое последнее странствие. Так на чем я остановился?*

Остановился Петя, оказалось, на том, как однажды он принимал участие в ночных съемках фильма по Островскому, что-то про актрису из провинциальной антрепризы, то ли по *Последней жертве*, то ли по *Талан-*

*там и поклонникам, Петя точно не помнил. Пребывая в состоянии одиночества, однажды ночью в паузе между съемками, когда выключили софиты, и в павильоне оставался лишь тусклый дежурный свет, Петя повстречал худую девицу с низким хриплым голосом, такую же статистку, как сам. Они сидели рядом на стульях в уголке и курили, рискуя, что их накроют местные пожарники. Эта партизанщина сближала, они познакомились. Она звалась Настей, была года на два-три старше Пети, у нее был провинциальный выговор, на голове, как у монашки, была низко, по самый лоб, повязана черная косынка. Петя с первых ее слов не без удивления понял, что она много умнее его. На пустые вопросы не отвечала, пропуская их мимо ушей, и говорила невпопад, будто сама с собой. *Вот вы, сказала она, например, чуть не сразу после того, как каждый назвал свое имя, на первый взгляд благополучный юноша из благородной семьи, пришли сюда, в этот грязный душный павильон, потому что недовольны своей жизнью, так ведь.* Это не был вопрос, и Петя только пожал плечами. В полумраке на ее выступающих скулах поблескивал тон-крем, растаявший под софитами. Нельзя было назвать ее красивой, но от ее лица трудно было отвести взгляд. После паузы она добавила:*

— Здесь все недовольны, ведь участвовать по ночам в массовках — это все равно, что поставить на себе крест.

По-видимому, она имела в виду статистов. Но, кто знает, может быть, она говорила вообще обо всех окружающих: о жующих бутерброды техниках, об ассистентке с китайским термосом, о самой исполнительни-

це главной роли, которая мерзла сейчас в своем отрывке в светлом платье, кутаясь в какой-то свитер, съжившись в бутафорском антикварном кресле. Петя открыл, было, рот, чтобы что-нибудь сострить, *снизить*, ему стало неприятно, как он выразился, что *была нарушена его монополия на пессимизм*. Но в голову шли одни банальности, и он постыдился перебивать собеседницу.

— Вот вам, Петр, — сказала Настя очень серьезно и невозмутимо, — не кажется странным, что все они еще живы?

Петя не сразу нашелся, что сказать. Потом спохватился и процитировал из *Фауста*:

*Затем, что лишь на то,  
чтоб с громом провалиться,*

Годна вся эта дрянь, что на земле живет, —

подростку Пете Гете читал вслух отец, сидя у его изголовья, коли того, двенадцатилетнего, одолевала лень идти в школу и настигала желанная ангина, вызванная терпеливым вдумчивым поеданием снега на улице.

Но на фаустовскую цитату Настя не среагировала.

— Не знаю, как вам, но мне тот факт, что я сама еще жива, представляется очень странным. Прямо-таки загадочным. — И она вдруг улыбнулась, глядя на Петино растерянное лицо. Наверное, она много курила, потому что у нее были скверные зубы, и улыбка казалась печальной, как у грустного клоуна. — Что бы им всем не повеситься? Или там отравиться? Утопиться на худой конец, как бедная Лиза. Зачем они нужны? Зачем они снимают эту гадость про бедную девушку, которой не на что жить? Ведь над бедными грешно смеяться... Но

нет, многие выживут, — заключила Настя с неподдельным сожалением.

Петя сообразил, что себя она, наверное, тоже считает *бедной девушкой*, и сказал:

— Знаете, я тоже думал об этом. Что ж, самоубийство у всех всегда в запасе. У каждого.

— Конечно, жить так тяжело, — продолжала Настя, по-прежнему не слушая глупца, — это так дорого обходится. И стоит ли эта жизнь, — повела она вокруг рукой, — чтобы ею жить и с ней бороться...

*Много позже, сказал Петя, я наткнулся на то, о чем она говорила, у Шопенгауэра. Сомневаюсь, что она штудировала Мир как воля и представление. Но говорила чуть не слово в слово, дойдя, что удивительно, своим умом, своим чувством: жизнь такое предприятие, буквально писал немец, которое не окупает своих издержек, я точно цитирую....*

— Вот вы сказали, — продолжила маленький философ в косыночке, — что самоубийство у каждого в запасе. Вот и нет, вы не правы, не у каждого. Есть такие, кто никогда не посмеют...

Петя промолчал. Как каждый юноша в его возрасте, он часто думал об этом, и всякий раз приходил к выводу, что сам, пожалуй, не смог бы ни зарезаться, ни повеситься.

— Вот в прошлый раз, здесь же, в павильоне, я познакомилась с осветителем. Ну, вот как с вами. Простой рабочий парень. И знаете, что он мне сказал?

— Что? — спросил Петя встревожено, ожидая отчего-то какой-то разгадки, чуть не откровения.

— Он сказал, что не стал бы жить и дня. Но только очень уж ему любопытно посмотреть, чем весь этот бардак закончится.

— Это он про советскую власть? — насмешливо уточнил Петя. — Известно чем, коммунизмом, на каждом столбе написано.

— Не знаю уж, — ответила Настя, — но только именно так он и сказал, дословно. Думаю, про власть тоже. Но он не был похож на революционера или... как там их называют по *ихнему* радио... на диссидента. В конце концов, чего бунтовать, ведь хороших властей нигде не бывает. Во всяком случае, умных властей. Разве что на каких-нибудь дикарских островах, где все голыми ходят. Кроме того, плохая власть — это лишь предлог для революций, когда люди вдруг очень захотят друг друга немножко пограбить и поубивать...

Эта мысль, высказанная Настей, почти девчонкой, совершенно поразила Петю своей точностью.

— Да-да, а ведь это так, — подхватил он. — Власть — это предлог, совсем просто. И наш царь, которого они убили совершенно просто так, и княжон, и наследника, облили потом мертвые тела серной кислотой, сбросили в шахту... Ведь это было не только дико, но и совсем не нужно. Царь был слабый, безвредный, ну выслали бы его куда-нибудь в туманный Альбион, к кузне. Или уж, коли на то пошло, судили бы, казнили бы публично, как робеспьеровы французы, а то тишком, по-воровски, ночью, в подвале перестреляли всю семью как дичь...

— Откуда вы про это знаете? — вдруг жадно спросила Настя.

— Читал, — ответил Петя неопределенно. И осекся. Пожалуй, не стоило этого говорить незнакомой девушке. И уж тем более нельзя было говорить, что прочел он это в самиздате, который в его семье получали от знакомых, в книжке следователя Соколова: Колчак, отбив на пару месяцев Екатеринбург у большевиков, поручил тому расследовать дело об убийстве царя. Книжка эта была напечатана в Париже еще в двадцатые годы.

Настя покачала головой. — У нас об этом не писали... Знаете что, давайте сбежим, а? У вас есть немножко денег? И у меня есть. Поедемте ко мне... Правда, это далеко, в Чертаново... Не удивляйтесь, что я вам так вот просто предлагаю. Не хочется одной возвращаться в пустую квартиру.

— Я не удивляюсь, — сказал Петя, действительно не удивившись, потому что в те времена, когда мир еще не знал СПИДа и на которые за бугром пришлась сексуальная революция, и у нас нравы были весьма свободными, даром что советскими. *Чертаново*, повторил про себя Петя.

Она угадала его мысли:

— Что, подходит мне это названьице для места жительства. Я ведь ведьма. Потомственная можно сказать. У меня бабка — знахарка...

Они вышли в предрассветную мглу, по верхам сугробов мела мелкая поземка, и ветер сбрасывал легкую снежную пыль на мостовую, где она превращалась в грязную кашу под колесами ранних грузовиков, развозящих хлеб и молоко. Оба дрожали даже не от холодного февральского ветра, но от нездорового возбуждения, которое овладевает молодыми людьми ранними пред-

утренними сумерками после бессонной ночи. Они добрались до метро на пустом еще, одном из первых троллейбусов, поехали на Каширскую, там пересели на автобус, довезшей их до улицы Красного Маяка. Это был новый район невероятной уродливости и сиротливости. И Петя подумал, что если каждое утро видеть в окно эти бесконечные шеренги серых одинаковых домов, то действительно захочется повеситься.

— Конечно, только в этом чертановском месте и должен светить путникам красный маяк,— натужно сострил он.

Магазины были еще закрыты. Рядом с тускло освещенным изнутри ларьком топтались по грязи темные фигуры, держащие в трясущихся замерзших руках граненые поллитровые кружки. Молодые люди купили разливного пива, которое им налили в грязную трехлитровую банку, взяв за тару отдельную плату. Они поднялись на лифте с уже исцарапанными стенками, хоть это и была новостройка. Настя отперла дверь. В прокуренной однокомнатной холодной квартире не было ничего, только табурет на кухне и матрас в комнате брошенный, прямо на грязный пол. Телефона здесь, по-видимому, тоже не было.

— Это ваша квартира? — спросил Петя.

— Снимаю, — отозвалась Настя и криво ухмыльнулась своими плохими зубами. — Располагайтесь.

Они выпили пиво и буднично совокупались на полу, на матрасе. Без одежды она казалась еще более худой, почти истощенной, и вместо грудей висели пустые бледные мешочки в голубых прожилках. После их безрадостного соединения она села, прислонившись к сте-

не, закурила. И опять начала говорить, по-прежнему обращаясь к своему теперь уже любовнику церемонно, на *вы*.

— Знаете, Петенька, совсем не нужно дожидаться старости, болезней, бедности, чтобы оказаться загнанной в угол. А ведь только загнанный в угол человек становится самим собой. И начинает думать о смерти. Даже не думать, но мечтать. Знаете почему? Очень просто, мечта о смерти связана с мечтой о вечности. О рае. О бессмертии души... Вы верующий?

— Я — крещеный, — уклончиво сказал Петя.

— А я не верую, — употребила она в который раз устарелый оборот. — Вам неинтересно? Вы хотите уйти, так ведь?

Это было правдой, Пете ничего так не хотелось сейчас, как сбежать. Очень уж бесприютно ему показалось в этом переметенном далеком районе, в холодной пустой квартире, рядом с этой нервной худой незнакомой женщиной с плохими зубами. И его родительский дом, в котором он так томился последнее время, показался ему теплым надежным островом. И горячий душ, и знакомые книжки, и привычная старенькая, чуть не трофейная еще, портативная пишущая машинка, которую ему подарил отец по случаю окончания им девятого класса. И даже его уютное невинное сочинительство по ночам, в одиночестве при свете настольной лампы, когда так томительно и сладко отчего-то прислушиваться к далеким звукам поздних поездов, идущих по Киевской дороге.

— Идите, идите, Петенька, я тоже устала. А как соскучитесь — заглядывайте, я ведь почти всегда дома.

Позвоните только сперва — у соседей есть телефон, они хорошие ребята, разрешают иногда пользоваться...

— И нацарапала телефон на клочке. — А на меня внимания не обращайтесь, — крикнула Настя уже ему в спину, — что-то нашло, наверное — это весеннее обострение...

Петя водворился домой и долго оттирал под душем губы от никотинных поцелуев. Но уже через пару дней Петю охватило знакомое настроение неприкаянности и сиротства. Он смотрел на своих домашних, и удивлялся, как может резвиться двенадцатилетняя Лиза, для которой он еще недавно делал домашнюю стенную газету: девизом на месте *пролетарии всех стран, соединяйтесь* стояла строка *такой судьбе и сам не рад несовершеннолетний гад*. Как может беспечно шутить отец, игриво укоряющей матушку за ужином: мол, когда он жил с княгиней Эн-Эн, та никогда серебряные ложки в ломбард не носила. Они пребывали будто в другом мире, и им было невдомек, что происходит с их братом и сыном. Однажды Петя сказал отцу, как бы между прочим, когда они перед сном играли традиционную партию в шахматы:

— Знаешь, я хочу взять академический отпуск.

— Зачем? — рассеянно сказал отец, раздумывая над ходом. Потом сдвоил ладьи и спросил: — У тебя опять нелады на факультете?

— Да нет, просто позвали в экспедицию на полгода.

Петя лукавил. У него были значительно более веские причины для побега. Он уже тогда жил не двойной — тройной жизнью, о чем его родителю известно не было. Но об этом позже.

— Что за экспедиция? — вяло поинтересовался отец. Он с неприязнью относился к Петиным фантазиям.

— На Каспий. На корабле.

— А что, это совсем неплохо, — неожиданно сказал отец, как будто испытал облегчение. — Тебе полезно будет встряхнуться. А то ты засиделся, обленился, в бассейн не ходишь, даже зарядку не делаешь. — Знал бы он, какую зарядку тайком делает Петя. — Может, напишешь что-нибудь, сочинишь путевой очерк, письмо, так сказать, русского путешественника... А с отпуском что-нибудь придумаем. Только с уговором: сессию за второй курс ты сдаешь без единой тройки.

Петя воспрянул духом. В экспедицию Петю никто еще не звал, но про свое летнее путешествие рассказывал ему один его приятель со старшего курса, который прошлым летом плавал на корабле лаборантом и сохранил связи в Институте физики земли. И, получив согласие отца, Петя вдруг почувствовал, что он скучает по Насте. Что ему хочется ей рассказать, как через полгода летом он уедет в Баку, и сядет на геофизическое судно, и будет стряхивать стеклом клочья пены с ботфортов, и будет отправлять ей письма из тех портов, в которые они будут заходить, чтобы пополнить запасы пресной воды. И он позвонил ей. Но прежде, чем ехать к Насте, он попытался сообразить, что он о ней, собственно, знает. Оказалось — ничего. Кто эта худая, одинокая, насмерть прокуренная девочка, участвующая в ночных массовках и постоянно думающая о смерти. Что у нее было раньше? И где ее семья? Ее кто-нибудь обманул? Ее бросили, как подкидыша? Петя купил вина и конфет, сыра, яблок, но был настроен не лирически — решительно.

Почему она ничего не говорит о себе? И откуда она взялась?

Настя встретила его, принарядившись. На ней теперь была белая блузка с вышивкой, а свои прямые светлые волосы она расчесала на пробор и забрала сзади черным бархатным обручем. В тот вечер она не говорила больше о смерти, разве что пробормотала:

— Я тогда сказала... ну, в прошлый раз... что не верю в бессмертие. Конечно, чего там, мы здесь недолго покуражимся и помучаемся, а потом уйдем, и останутся после нас какие-нибудь никому ненужные бумажки, какие-нибудь фотки, которые выбросят в помойку... Но иногда думаешь, а если все-таки... вдруг и вправду душа бессмертна. И есть тот мир. Ведь если я мечтаю об этом, и все об этом мечтают, все человечество много веков мечтает и гадает, значит, что-то такое должно же быть, а? — И, чуть погодя, усмехаясь: — Самоубийство, конечно, старомодный выход, но другого-то никто не предлагает

Но потом оборвала себя: *что это я все болтаю*. И попросила Петю рассказать о себе, *вы все время молчите*. И Петя забыл, что как раз намеревался, напротив, расспросить ее саму, и начал какой-то литературный разговор, какие обычно заводил в подпитии. О чем он болтал, он не мог вспомнить, конечно, но сказал, что увлекался тогда Гайдаром, точнее одной мыслью о Гайдаре и Тимуре с его командой. Мол, *эта повесть — типичный рыцарский роман, в нем чернь под руководством Квакина, настоящего разбойника и вождя племени, осаждают феодальный замок, роль которого*

*играют насмерть огороженные спецдачи тогдашней советской номенклатуры.*

— Забавно, — заметил Петя, — доживем ли мы до того времени, когда эта старая история повторится. И разъяренные толпы пойдут грабить нынешние особняки на Рублевке.

— Не хотелось бы дожить, — сказал я. — Но, скорее всего, так оно и будет. Потому что ты ведь фактически описал последние дни Рима. Патриции-импотенты сидят по укрепленным загородным виллам, их осаждает разъяренный плебс, а сам город уже грабят варвары Атиллы... Но продолжай.

И Петя, будто нехотя, вернулся к своему рассказу. В тот их последний вечер ему, когда он совсем расслабился, вдруг захотелось рассказать Насте об Альбине Васильевне Посторонних, но он засомневался, что дождется чаемого сочувствия. Вместо этого они разделись и легли в постель. На этот раз Настя была удивительно нежна, причем так, как никто никогда с Петей нежен не был. *И вот тут-то*, сказал Петя, *меня опять потянуло бежать*. По его словам, он никогда не мог сам себе объяснить этого своего состояния: именно в тот момент, когда женщина открывалась и искренне и бескорыстно дарила ему себя, тяга прочь одолевала Петю. *Наверное, это комплекс Дон-Жуана*, пробормотал он, *впрочем, обычно его неправильно трактуют... Знаешь, что она сказала, когда закрывала за мной дверь. Она сказала, что я еще маленький мальчик. Но это пройдет, сказала она, хуже другое: ты не умеешь любить...*

И, как это часто бывало с подвыпившим Петей, его на этом месте рассказа, который как будто стал самому

ему неприятен, понесло в другую сторону. Что ж, постаревшие гуляки часто становятся сентиментальны. Впрочем, любой Дон Жуан, по закону развития вечного сюжета, рано или поздно должен раскаяться. Так что я не удивился, услышав от Пети этот монолог, вместе и своего рода манифест женоненавистничества, и, так сказать, памятка бабника, героя всех этих малопочтенных, но довольно слезоточивых историй. Слушая тогда Петю и зная, как он поступал с привязанными к нему дамами, я думал о том, что в этой его исповеди содержится привкус то ли мести за очередную несбывшуюся надежду, то ли страха, что надежда вообще так и не сбудется. Петя как будто одновременно любил женщин, жалел и немного презирал.

— Однажды в Тбилиси, — рассказывал Петя, начисто позабыв, казалось, с чего начал, — я брал интервью у одного режиссера. Я сидел в его кабинете и наблюдал за знаменитым на весь мир мастером театра марионеток. Спектакль давно кончился, и после интервью нас ждало обильное застолье у одного общего знакомого, который меня и порекомендовал. Но мы никак не могли стартовать: режиссер привел в кабинет какую-то московскую даму и развлекал ее бессмысленными на мой вкус, по-кавказски неспешными разговорами. Но приходилось терпеть, хотя очень хотелось сделать работу, а потом выпить и пожрать. При всем том дама откровенно скучала. Вида она была самого карикатурного: какой-то шиньон, гипюр, затянутая в тугий бюстгальтер большая дряблая грудь, штукатурка на немолодом лице. Она смутно напоминала не то Терешкову, не то Фурцеву. У режиссера контакт с ней не ладился, она от-

вечала — если отвечала, а то и вовсе ограничивалась высокомерным кивком, постукивая носком туфли-лодочки об пол. Режиссер повел разговор о том, как он наряжает своих кукол, и открыл стоявший в углу кабинета сундук. Там было полным полно обрезков самого разного сорта материй: фактура, рисунок, цвета на любой вкус. И вдруг чиновная баба ожила. И когда они принялись перебирать эти лоскуты, сблизившись головами, градус их общения все поднимался, в конце концов они сделались похожи на двух любовников, лежущих общие воспоминания. Мы довезли даму, еще не отошедшую от восторга, до гостиницы и покатали в гости, и режиссер воскликнул, хлопнув себя по колену: сделано! Оказалось, от этой чиновной бабы зависели гастроли его театра в Югославии. Вот как двигалась наша культура и наша слава — цветными обрезками старых тканей, случайно не выброшенных портнихой...

Что ж, такие бабы, как та, с лоскутами, действительно в те годы сидели везде, в приемных комиссиях, в министерствах, в райкомах и в редакциях газет, на радио и на телевидении. Все как одна были среднего звена начальницами, какими-то заместителями, референтами, кураторами отделов, черт знает, какие должности они занимали, но от них зависело многое, их невозможно было объехать на кривой козе. Но я не мог понять, куда Петя клонит.

— Непредсказуемость и алогизм их предпочтений, — гнул свое Петя, забыв, казалось, все, что рассказывал только что, — непоследовательность решений и бесконечная борьба с фаллократическим миром, доходящая до истерики, до садистического отношения к зависи-

мым от них особям в штанах, особенно если те самодостаточны и сексуально привлекательны... У них нет стержня. Какой к черту стержень у существ, которые принаряжаются на исповедь, идут в парикмахерскую перед похоронами, заботятся о макияже, получив приглашение на казнь. Они битый час вечером планируют, что наденут завтра, но утром надевают совсем другое...

Казалось, Петю понесло. Логику перехода его настроения я не мог уловить: возможно, так на него повлияли воспоминания, обещавшие быть занятными, но оказавшиеся неприятными. К тому же, тогда Петя жил один, уже разошедшись с двумя женами.

— Одна потасканная оперная дива, некогда всемирно известная,— говорил Петя неожиданно злобно, — в Колонном зале дала концерт отнюдь не своих партий, но своих нарядов. Мой двоюродный дядюшка семнадцать лет отсидел на Колыме. В пятьдесят шестом, когда его выпустили, он решил отыскать знаменитую артистку еще немного кино, любовницу его расстрелянного отца: у нее должно было оставаться кое-какое имущество. Старуха, как ни странно, тут же узнала его: голубчик, как же, как же, помню, ваш отец мне дарил такие шикарные вещи! Что было с *голубчиком* в последние полтора десятка лет с лишним ее совершенно не заинтересовало... Вдова Блока, Люба Менделеева, актриса, к слову, пережила мужа на двенадцать лет,— все пуще расходился Петя,— и после ее смерти нашли листок, разграфленный надвое. В левой части был столбец, озаглавленный *радости*, в нем перечисляли обновки, пикники, боа, бусы, даже земляника со сливками, о стихах и о театре ни слова. В другом столбце, оза-

главленном *ошибки*, значилось, что ошибок было две: то, что она вышла замуж за Блока и то, что не успела с ним развестись. Подобными качествами могут умиляться только педерасты, — совсем уж разъярился Петя. — Вот, например, есть миф, будто женщины методичнее и ответственнее мужчин. Чушь! Женщины всегда опаздывают, а опоздав, все время отвлекаются. Им достаточно показать палец, как они забывают, о чем речь. Прошел по коридору незнакомый мужчина, пролетела птичка, соседи включили телевизор, все что угодно в любой момент может стать важнее, чем дело. Они могут без всякого повода, воскликнув *ах, да, я вспомнила*, посередине разговора схватить телефон и потом чесать языком четверть часа, причем, что такое она вспомнила — она уже забыла. Или другой предрассудок — женщины аккуратнее мужчин. Боже, бред какой, женщины чрезвычайно неряшливы: они невоздержанны в еде, особенно коли речь о шоколаде и клубнике со сливками, они не в силах заставить себя положить на место вещь, которую только что держали в руках. Они могут часами заниматься маникюром и макияжем, ходить на фитнес, на боди-билдинг, на ультрафиолет и шейпинг, но при этом в сумочке черт знает что: чтобы найти ключ от квартиры, они высыпают все содержимое сумки на грязный пол в подъезде; в ее платяном шкафу, на полке с нижним бельем, всегда кавардак, трусы перепутаны с колготами и лифчиками; если она водит машину, в ее багажник страшно заглядывать. К тому же, считается, что женщины — чистоплотнее мужчин. Разумеется, на миллионах прелестных ню они гладкие, мытые и ароматные. На самом деле, большинство из них невероят-

ные неряхи. Поссав и спустив воду, они промокнули пизду, бросят салфетку в унитаз, но никогда не спустят воду повторно, и эта салфетка будет голубеть или розоветь, пока ни спустишь воду сам. Чаще всего, они очень неприятно потеют — особенно, когда кончают. С глаз у них то и дело течет тушь. Следы их губной помады всегда на самых неподходящих предметах. В моральном отношении они, как правило, чудовища. Мужчин всегда поражали их способности к виртуозной лжи и самым подлым интригам. Они злопамятны и мстительны, они не ведают, что такое великодушие. Воображение у них, чаще всего, много извращеннее мужского. Да что там, полистай любой женский журнал и убедись, насколько он пошлее и грязнее любого мужского издания...

— Ты забыл, о чем говорил, — перебил я его, наконец. — Скажи лучше, что же случилось с этой самой Настей?

— С Настей? — переспросил он удивленно, будто очнувшись. — Я же тебе все уже рассказал...

— Да нет, ты мне так и не сказал, чем дело кончилось.

— Разве, — пожал плечами Петя. — Она ведь покончила с собой. Повесилась или отравилась, я даже не знаю. Но не утопилась, это точно.

И я заставил Петя завершить историю. В третий раз Петя решил ехать к ней без предупреждения, поскольку телефон соседей не отвечал. Он сорвался к ней неожиданно, перепив пива в баре *Жигули* с сокурсниками. У подъезда он обнаружил милицейскую машину и машину скорой помощи. Он поднялся на лифте на ее этаж, дверь квартиры была распахнута, на площадке толпи-

лись соседи. Милиционер преградил Пете дорогу. Но обратил внимание на Петино искаженное испугом лицо.

— Вы знали ее?

— Знал, — сказал Петя, стуча зубами. — Что с ней?

— Войдите.

В комнате на том самом матрасе, где они занимались любовью, лежало тело, закрытое простыней. Ее тело. Санитары на глазах Пети переложили Настю на носилки, и вышло у них это очень ловко.

— А вы пойдете со мной, — сказал милиционер на ухо Пете. — Документы с собой?

В отделении Петю пригласили в отдельную комнату, и усталый опер спросил, кем приходится Петя покойной. Петя сказал, что видел Настю два раза в жизни. И что не знает даже ее фамилии. И вообще ничего о ней не знает. Опер переписал Петины данные из паспорта и сказал:

— Свободны. Вызовем, когда будет надо.

— Весеннее обострение, — сказал Петя на пороге, вдруг вспомнив фразу, которую как-то слышал от нее.

Опер и эти слова Пети записал. Но потом никто никуда Петю так и не вызвал.

## ИНОГДА ХОЧЕТСЯ НАСТУПИТЬ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

Понимаю покойную Елену Петровну: она никогда не могла разобраться в романах и влюбленностях сына. Я тоже не мог. Даже тогда, когда имел возможность задавать Пете уточняющие вопросы. Думаю, полного списка не имел он сам, да ему ни в коем случае не пришло бы в голову его составлять. Он был — прямодушный любовник, бабник и гуляка безо всякой задней мысли и расчета. В нем было благородное прямодушие, не только в любовных, но во всех жизненных обстоятельствах, люди мелочные принимали это Петино качество за простоватость, иначе говоря, глупость. Скажем, Петя не умел обаятельно говорить гадости, так, чтобы собеседник под шутливой благожелательностью не сразу разглядел скрытое оскорбление. Если он говорил резкости, то — резко. Зато бывал обворожительно простым и открытым с теми, кого любил. Так вот, вспоминая по какому-либо поводу какую-то из своих пассий, всякий раз Петя рассказывал о ней, вовсе не красуясь, скорее наслаждаясь самим течением своих баек. К тому же, я был прилежным слушателем.

Здесь важно сказать, что его истории в реальной жизни вовсе не всегда следовали одна за другой, а подчас накладывались. Это лишь в изложении, так сказать, *позднего* Пети его мятежная юность протекала линейно, от одной привязанности к другой, на самом же деле он вел жизнь турбулентную, и в одном вихре могло одновременно кружиться несколько женщин. И к каждой Петя относился одинаково искренне. Скажем, эпизод с Альбиной Васильевной Посторонних можно переска-

зять в беспримесном жанре, от начала до конца, с завязкой, кульминацией, развязкой и эпилогом, поскольку Петя этой связью был целиком поглощен. Но во время истории с Настей в Петиной жизни происходили многие другие события, о которых он ради связности изложения в своем рассказе даже не упомянул. А ведь у него тогда, на втором курсе, уже закручивалась еще одна университетская связь, намечалось еще одно *странствие*, выражаясь его языком. И ему опять пригодились навыки ежедневного штурма университетского общежития: у него завелась в подругах аспирантка, девушка опять же лет на пять его старше, и тоже из восточной части необъятной империи, правда, на этот раз из большого культурного, купеческого и ссыльного некогда, сибирского города Красноярск. И не с филологического, как в прошлый раз, но с исторического факультета.

Вспомнил ее Петя потому, что однажды она в моем присутствии, когда я был у него в гостях в его холостяцкой квартире, неожиданно позвонила. Тот не сразу понял, с кем он говорит. А потом, прикрыв трубку, шепнул *извини* и сделался оживлен. По его вопросам можно было заключить, что своего абонента он много лет не видел и не слышал. Когда он, наконец, положил трубку, то задумчиво сказал вслух: *надо же, она до сих пор читает все мои статьи...* И обернулся ко мне: *знаешь, она тоже была из военной семьи.*

— Что значит — тоже из военной? — спросил, было, я, но сам тут же вспомнил о второй его жене Ире, генеральской дочери. А первая жена Пети была дочь подполковника. Чин же этой аспирантки мне так и ос-

тался неизвестным, ну, быть может, она была майорская дочка, потому что Петя, похоже, последовательно шел от чина к чину. *И это никак не случайно*, сказал Петя. И ударился в рассуждения в том смысле, что интеллигентские дочки, среди которых он рос в преподавательском университетском доме и с которыми потом учился в английской школе, всегда были *несносно культурны*, начитаны и разговорчивы, но — *не ясны*, выразился он. *А что может быть ужаснее сбивчиво начитанной женщины*, возгласил Петя. Впрочем, он и сам был образован, так сказать, клочковато. Дочки же военных, выросшие на свежем воздухе, в каких-нибудь захолустных военных городках на реке, сызмала гулявшие по лесам и полям, собирая дилетантский, как сама наша природа, гербарий для учительницы биологии, и получавшие полноценный пайковый корм, в отличие от пролетарских простушек были упитанными и розовыми, но без намека на интеллектуальную испорченность. *В конце концов*, сказал Петя, *это самый надежный вариант, если ты ищешь подружку, а не товарища по партийной работе*.

Аспирантка первого года, по воспоминаниям Пети, была общительна, забавна, смешлива, ненавязчива и вкусно стряпала. Область ее научных интересов была для Пети покрыта туманом, нечто касающееся аграрного вопроса в пореформенной России, но она не утруждала себя занятиями, поскольку защита предполагалась только через три года и после напряженных аспирантских экзаменов она могла позволить себе расслабиться. И лишь раз в неделю она *встречалась с руководителем*. Звали ее для простоты Татьяной. Жизнь тогда была

дешева, и они постоянно шлялись по ресторанам. Пару раз ездили вместе на море, но море Таня не любила, была белокожа и быстро обгорала. Их любимым времяпрепровождением стали экскурсии по Подмосковию с палаткой. Они бывали в заброшенных усадьбах и едва тлевших тогда монастырях, летом купались в лесных речках, зимой катались на санях в кустодиевском Боровске, не изменившемся, наверное, с того времени, о котором Татьяна должна была писать диссертацию. *Как ни странно*, вспоминал Петя, чуть ерничая, *именно тогда, говоря есенинским языком, я полюбил образ родной стороны.*

Их жизнь скоро стала размерена: Петя звонил Татьяне в общежитие, говорил, что вечером будет у нее, и она отправлялась готовить ужин. Как правило это была вареная картошка с мясом, тушеным с большим количеством сливочного масла, лука и немолотого черного перца-горошка,— Петя и сам перенял у нее этот несложный рецепт, хотя позже научился готовить куда более витиевато. Впрочем, он всегда мог приехать к ней в общежитие и без звонка, все привратники внизу Петю уже отлично знали. Тем не менее, один такой неожиданный визит стоил потом Пете довольно дорого, но об этом после. Здесь же надо повторить: в промежутках между этими, чуть не супружескими, свиданиями Петя еще много чего успевал. Скажем, пребывая в этом романе, он и участвовал, как я уж рассказал, в ночных массовках. А летом, когда Татьяна уехала навестить родителей в родном городе Красноярске на реке Енисей, Петя рванул в Крым, где и познакомился со своей будущей первой женой-литовкой. Но это одна сторона.

Есть и другая: именно во времена этой связи Петя влип в свою первую неприятную историю с властями держащими. И здесь надо бы вспомнить каким было, так сказать, Петино резюме.

Как уже сказано, факультет журналистики тогда считался не менее идеологически важным, чем, скажем, философский или исторический. Проявлялось это отнюдь не только в куда более строгом политическом воспитании студентов в духе преданности партии, чем на факультетах естественнонаучных, но и в отчаянном доносительстве, поощрявшимся и деканатом, и парткомом, и комсомольскими вожаками. Петя же был, разумеется, болтлив, широк в общении и неосторожен. Скажем, как-то в общезитии в компании американских стажеров-славистов он распинался о травле Солженицына, тогда еще не высланного. *Я был настолько наивен, вспоминал Петя, что полагал: если человек приехал из свободной западной страны, то стукачом он никак быть не может.*

Со своими ранними вещицами, первыми опытами в прозе, Петя таскался в какое-то *литобъединение* — так назывались тогда самодеятельные литературные кружки, вполне официальные, их руководители даже получали символическую плату от городских властей. Кружок занимался в Сокольниках, в каком-то *красном уголке*, и здесь Петя читал вслух не романтические повествования, а рассказы из московской вечерней жизни. Его героями, в полном соответствии со школьными уроками русской классики, были *маленькие люди*, нищие бродяги, проститутки, наркоманы и гонимые коммунистами педерасты, такая у него была юношеская

горьковская страсть к подглядыванию на дно жизни. Подобные темы в те светлые социалистические времена были не просто запретными, но подрывными, это называлось забавным словцом *очернительство*, и неприхотливые рассказы эти, своего рода физиологические очерки, если бы органы того пожелали, вполне могли потянуть на уголовную статью об *изготовлении и распространении заведомо ложных клеветнических измышлений, порочащих государственный строй*. По этой дикарской статье запросто можно было схлопотать лет пять лагерей и семь *по рогам*. То есть — семь ссылки. И не то чтобы Петя был так уж наивен и беспечен, скажем, школа распространения самиздата у него имела, но, скорее всего, ослепленный авторским тщеславием, он просто не понимал степени крамолы того, что с таким куражом сочинял и читал. Ну, конечно, и вызов, эпатаж, бравада.

Его чуть отрезвило одно происшествие: однажды ему позвонил незаметный еврейский юноша, один из его коллег по этому кружку, окончивший Педагогический институт и тоже сочинявший прозу. *Проза была занудная*, вспоминал Петя, *и я сейчас забыл, как звали этого парня, но помню название одного его рассказа — Сайгонский вокзал*. Занудную тот писал прозу или нет, но этот доброхот совершил редкий по тем временам благородный и смелый поступок: он рассказал Пете, что его вызывали в КГБ и спрашивали о рассказах Петра Камнева. То есть предупредил об опасности. Другой на месте Пети прикинул бы, а не засланный ли это казачок, но Пете совершенно чужда была тогдашняя интеллигентская паранойя, когда даже в своей компании с

упоеанием вычисляли стукачей. Петя поблагодарил парня, поежился, но на другой же день отправился на какую-то незнакомую квартиру в районе Заставы Ильича, хозяева которой держали нечто вроде салона. И там за чаем под лохматым абажуром, среди старенькой мебели и картинок подпольного тогда, *второго* авангарда, Петя опять исполнил свой репертуар и искупался в лучах успеха. В числе гостей оказался некий патлатый художник с чрезмерно горячими глазами, он отвел Петю в сторонку и рассказал, что еще на одной частной квартире регулярно проводится *устный литературный альманах*, что-то вроде популярных тогда квартирных выставок, и что он, Петя, похоже, вполне достоин в этом альманахе поучаствовать.

Петя поучаствовал. И прямо во время его чтения в квартиру вошли милиционеры, и вместе с несколькими десятками авторов и слушателей Петя был арестован и доставлен в околоток до выяснения личности. Его отпустили через пару часов, но инцидент безусловно стал известен в университете. Много позже, когда Петя был на краю посадки, следователь на допросе сказал Пете: *что ж, вы у нас на примете с девятнадцати лет, стаж, как никак, молодой человек, вы ведь такой умный, но такой... неосторожный*. Петя вспоминал этот допрос, когда его хотели заставить подписать какую-то филькину грамоту, которую кагэбэшники называли *протокол предупреждения*, но Петя на обороте лишь расписался, что ознакомлен, и усмехался: *так говорил мамашин хахаль-еврей, ты помнишь, ты у него микроволновую печь отнял, учивший меня математике в начальной школе — мол, умный, но дурак*. Петя не по-

нимал, что они имели в виду, а я мог бы ему сказать: бесхитрость Петину, вот что, все вроде бы понимает, а хитрить и приспособливаться не умеет.

Об этой подпольной стороне своей жизни Петя своей Тане не рассказывал, поскольку она наверняка перепугалась бы до обморока — простые советские люди в те годы мистически боялись КГБ, как некоей вредоносной, смертельно опасной, растворенной в самом воздухе страны субстанции типа бацилл чумы. Для иллюстрации Петя рассказал мне одну забавную сценку. Между последней его экспедицией и поступлением его в нашу редакцию, он успел недолго проработать еще и в Энергетическом научно-исследовательском институте. Директором института был товарищ Камнев-старшего со студенческих лет, и он взял Петю временно лаборантом в лабораторию горения. Петя, разумеется, ни разу в жизни не видел лабораторную газовую горелку, и на своем посту был совершенно бесполезен. Зато его начальница, дама бойкая и светская, оказалось, интересуется литературой, читает *Новый мир* и все прочее, что тогда полагалось читать дамам среднего возраста, имеющим степень кандидата наук. Так что Петино пребывание в лаборатории свелось к тому, что, когда дело доходило до чая, а дело до чая доходило уже часов в одиннадцать утра, Петя разливался соловьем и выкладывал все, что знал при словесность, а при его памяти выложить он мог очень много. И вот однажды в лабораторию вошел парторг института, старенький заслуженный рабочий, мастер институтских мастерских, а с ним юный румяный комсомолец в дешевом костюмчике и галстукe, с гладко зачесанными волосиками. И началь-

ница, едва увидела эту пару, натурально упала в обморок. Петя-то сообразил, что молодой топтун пришел по его душу, и реакция дамы его озадачила. Оказалось, ее муж, лесотехник, как раз в это время был в командировке в Финляндии. И она решила, что, раз к ней пришли по месту службы, то муж остался за границей и попросил у финнов политического убежища. *Здесь более всего показательно, говорил Петя, что простой советский человек, никогда с КГБ дела не имевший, тотчас распознавал комитетских сотрудников, как будто на них стояла печать...*

Отцу, человеку отнюдь не слабонервному и закаленному, ничего об интересе к скромной персоне его сына со стороны КГБ Петя тоже рассказывать не стал. Позже все открылось, конечно. Но все же, когда Петю тишком отчислили из университета, профессор Камнев узнал об этом последним, двумя месяцами позже, когда уже начинался учебный год, а Петя плавал далеко в Каспийском море, где играл со старшими товарищами-геофизиками в преферанс. Штрафные очки начислялись так: столько-то за прыжок в море с бортика, столько-то — за сальто вперед, столько — за сальто назад. Дороже всего стоил прыжок с капитанского мостика, и Петя постепенно стал прыгуном в воду на уровне первого мужского разряда. Но об этой стороне экспедиционной жизни, равно как о поглощении в больших количествах разведенного экспедиционного спирта, в своей отчетной повестушке, предназначенной для журнала *Юность*, он, конечно, не написал...

Осенью Петю вызвали в военкомат. Потом стало ясно, что партком факультета журналистики, ужаснув-

шись сведениями, поступившими на Петю из КГБ, стал перед необходимостью избавиться от студента Камнева. В те годы не принято было обнаруживать какие-либо следы действий спецслужб, хотя сами они работали топорно и напускали таинственности только для того, чтобы нагнать побольше страха. К счастью для парткома, повод легко нашелся: у Пети оказался не сданным экзамен по теории и практике партийной советской печати, *тыр-пыр* на факультетском сленге, с ведома деканата, впрочем, перенесенный на осень. Но на эту договоренность никто внимания не обратил, и Петю отчислили. При этом, как донесли потом доброхоты старшему Камневу, целью отчисления и было — как можно скорее отправить Петю в армию, что считалось весьма перспективным с точки зрения перевоспитания в духе лояльности режиму.

Елена Петровна, несколько уставшая от бурного своего сына, не видела в армейской перспективе ничего страшного. И даже утверждала в унисон с парткомом, что там Петя *образумится*. Но аэродинамик Камнев-старший так не считал. Он полагал, напротив, что армия погубит его единственного сына, что, скорее всего, было ближе к истине. И он проявил немалую решительность и изобретательность, чтобы отвести от Пети эту беду. И здесь следует довольно забавный и двусмысленный изгиб сюжета, поскольку в дело вмешался невероятный случай.

Двумя этажами выше Камневых проживал профессор как раз факультета журналистики, заведовавший кафедрой как раз этой самой *тыр-пыр*. Это был очень замшелый одинокий вдовец, раз в три года подбирав-

ший среди студенток-провинциалок себе кого-нибудь в аспирантки — он диктовал ей все три года ее будущую диссертацию с гарантией защиты. Действовавшую на тот период девицу Петя не раз встречал в собственном подъезде, когда она выходила после визита к шефу. Это была ширококостная задастая девка, рябая, с красной, в белых пупырышках, кожей, обтягивавшей мощные ключицы. Как-то Петя в лифте разговорился с ней, был приглашен в гости в то же самое общежитие, но, обжегшись один раз, соблазняться прелестницей не стал. Так, выпил с ней и поболтал. В частности, Петю очень занимал вопрос, каким образом старик *это* с ней делает. *Пальцем*, был ответ. *Вот видишь*, говорил потом Петя, вспоминая этот эпизод, *не так страшна импотенция, как ее малюют продавцы патентованных средств*.

В принципе, крайне просто было бы теперь убедить этого старикана поставить Пете любой балл по его предмету, но было поздно, дело было сделано, и Петя уже был отчислен. Но старый любитель клубнички неожиданно сгодился с другой стороны. Однажды вечером в дверь Камневых нервно позвонила эта самая аспирантка. Она была в тапочках на босу ногу, в домашнем халате, вид у нее был насмерть перепуганный, точнее она была в панике. Оказывается, старика разбил небольшой инсульт, скорая помощь сделала укол, но даже не стала забирать его в больницу. Аспирантка приписывала это себе, утверждая, что она *его не отдала*. Еще бы ей его отдать, когда до защиты оставался всего год. Вот только старикан стал заговариваться, звал покойную жену, пытался упасть с кровати и требовал какую-то врачуху, но она ничего толком не может по-

нять из его речей, *ничего-ничего*. Перепуганную девушку успокоили, и сам профессор Камнев пошел к коллеге не только в порядке, так сказать, корпоративной солидарности, но по-соседски.

На самом деле, ничего страшного не обнаружилось, девушка зря так напугалась. Старичок, довольно ухоженный, лежал в чистой постельке, чуть закатывая глаза. Оpozнав соседа, он сосредоточился, и взгляд его стал почти осмысленным. По-видимому, он не был высокого мнения об умственных способностях своей ученицы, потому что при виде Петиного отца явно ободрился.

— Виктор, — сказал он твердо.

— Виктор Камнев, — помог ему Камнев.

— Виктор. Там, — и он даже выпростал из-под покрывала руку, пальцы, впрочем, не шевелились, — там книга. Там телефон. Ду-ду-ду.

— Понятно, — сказал профессор Камнев и велел девке найти записную книжку. Та подала. Книжка была открыта на Д.

— Дулева Марфа Спиридоновна, — прочел он вслух.

— Д-д-дулева, — удовлетворенно произнес больной и, утомившись, прикрыл глаза.

Марфа Спиридоновна очень быстро поняла, в чем дело. Девка, было, огорчилась, что ее сейчас, не дай Бог, потеснят у одра ее благодетеля, но Дулева оказалась профессором-психиатром, причем очень известным. Некогда они выросли со стариком, специалистом в области партийной печати, в одной деревне под Тулой. То есть, одна тульская деревня дала стране сразу двух

профессоров Московского университета, и их фотографии висели рядом на доске почета в местной сельской школе. Так семья Камневых свела оказавшееся позже таким полезным и спасительным знакомство с профессором Дулевой, автором известного учебника для медицинских институтов, и она в тот вечер пила чай у них на кухне. Именно этой самой Дулевой Камнев-старший и позвонил с просьбой освидетельствовать его сына.

А дальше дело сложилось и вовсе самым чудесным образом, поскольку умница-профессор не страдала различинной неприязнью к потомственной интеллигенции и понимала все без слов. Петю привезли и поставили, предварительно переговорив с отцом, профессором Камневым, перед консилиумом: два молодых врача, парень и девушка, профессор Дулева посредине. Профессор задала Пете, внимательно его оглядев, вопрос, давно ли Петя носит бороду. Петя по-юношески сурово, отвечал, скрывая неловкость, в том духе, что, мол, *как выросла, так и ношу*, и в бороде поскреб.

— Вы пишете? — последовал второй вопрос.

Петя пожал плечами и вздохнул:

— Да, сочиняю прозу, рассказы всякие, хочу вот роман...

Врачи переглянулись и больше ничего не спросили. *Понимаешь*, говорил Петя, *сам по себе факт сочинительства в советские времена был не симптомом даже, но синдромом и готовым диагнозом. И, если вдуматься, это совершенно верное заключение...*

Камневу-старшему выдали заклеенный пакет, который тот самолично отнес в военкомат. Довольно быстро туда вызвали Петю и вручили военный билет с

проставленной в нем драгоценной статьей, о которой мог только мечтать всякий дезертир и симулянт, *не обучен годен к строевой в военное время* и констатировавшей диагноз *компенсированная психопатия*. Это была самая легкая из всех возможных психиатрическая статья, освобождавшая от армии, но позволявшая даже получить автомобильные права, поскольку не требовала постановки на психиатрический учет. *А если бы я тогда в лифте не улыбнулся той самой аспирантке марзматики-партийца, то рыть бы мне два года траншеи в строительных войсках где-нибудь в Забайкалье*, говорил Петя, *вот как важно быть не серьезным Эрнестом, но легкомысленным Казановой*.

Итак, семья Камневых этот тур у университетских партийцев вкупе с КГБ с блеском выиграла, но не могли же органы на этом успокоиться. Через два дня в квартиру Камневых пришел пожилой участковый, который заявил, что Петя — тунеядец, и если он не устроится на работу в течение недели, то будет выслан из Москвы, города-героя, за сто первый километр. *То, что вы снимаетесь на Мосфильме в масссовках, постоянной работой считать нельзя*, проявил он необыкновенную для простого участкового милиционера осведомленность, *потому что там без трудовой книжки*. Тогда Петя предъявил ему свою трудовую книжку, полученную в Институте физики земли. Участковый бы озадачен, окинул Петю потеплевшим глазом и сказал с интонацией почти отеческой: *уезжай-ка ты, парень, опять в свою экс-пере-дицию, глядишь, забудется...* Петя удивился, ведь у него еще не было тогда тестя из ГРУ, он не

знал, что и военные, и милиционеры КГБ равно терпеть не могут.

И Петя уехал уже в декабре. Но в ноябре с ним успела произойти еще одна скверная история. Он чувствовал, что Татьяна отдаляется от него: наверное, в ней боролись чувство любви и страха за свою так ровно развивающуюся карьеру. В конце концов, Петя в университете стал изгоем, и связь с ним никак не украшала ее биографию. Однако, и порвать с Петей сил у нее не было. А тут еще жених ее подруги по аспирантуре, казачки Нади, вернулся из длительной командировки в Египет, куда был отправлен филологическим факультетом как переводчик-стажер — помогать советским строителям общаться по-английски с арабскими инженерами. Парень этот, озверевший от мусульманских танцев живота и соскучившийся по своей развеселой хохлушке, вернулся с шальными деньгами, которые надобно было прогулять. Они вчетвером, Надя со своим женихом и Татьяна с Петей, добросовестно гуляли неделю. Они обошли многие рестораны, и отчего-то больше всего им приглянулся рыбный *Якорь* у Белорусского вокзала. Этот *Якорь* потом окажет стажеру, подзабывшему за год жизни за границей советские порядки, плохую услугу. Выйдя из него как-то пьяным, он ввязался на Горького в драку, ему разбили нос, и он, с залитым кровью лицом, дернул за рукав проходящего мимо полковника милиции, чтобы тот вмешался и восстановил справедливость. Тот посоветовал ему проспаться, и тогда бывший стажер полковника ударил. За что загремел на три года в лагеря, но все это происходило уже без Петиного уча-

ствия. Потому что для начала в дурную историю попал как раз сам Петя.

Как-то вечером по пьянке они повздорили с Татьяной, и Петя демонстративно отправился домой. Но, достигнув своего подъезда, он соскучился и решил помириться с подружкой. Было часа два ночи, когда он появился в вестибюле ее общежития. И старик-вахтер, в прошлом заслуженный стрелок вооруженной охраны, до сих пор носивший истлевшую гимнастерку с дырочками от погон, отказался его пропускать. Пьяный Петя очень возмутился. *Ты же меня знаешь, сука*, заорал интеллигентный Петя, *вертухай поганый, людям любить мешаешь*. С этими вдохновенными словами, возмущенный столь явной несправедливостью мира, Петя бросился вахтера душить. Перепуганный старик успел нажать какую-то кнопочку под столом, наряд университетской милиции был тут как тут через минуту, и Петя оказался в камере предварительного заключения, в *обезьяннике*, как это называлось.

Этот самый вахтер был не злым человеком. И не хотел ни с кем ссориться, но тихо жить на пенсию и скромный приработок, чтоб его никто не трогал. Как-то он поведал Пете, который, будучи в добром расположении духа любил общаться с *простыми людьми* и угостил его портвейном, что сам-то он, охраняя лагеря, никого не убил, хоть все вокруг были сущие звери, *пугнул только двоих не насмерть*. Теперь старик и сам был не рад такому обороту дела и позвонил Татьяне на ее этаж. Узнав в чем дело, Татьяна разбудила казачку Надю, у которой имелся ухажер-лейтенант в этом самом отделении, с которым она коротала время в ожидании

египетского жениха. И уже с утра Петю выпустили из обезьянника, и Татьяна, Надя, ее стажер и Петя пили целый день в компании милиционеров виски *Клаб-99*, каковым диковинным напитком, похожим по вкусу на политуру, облагодетельствовали Москву в тот год венгерские соратники по Варшавскому договору. Расплатившись таким образом за освобождение, веселый острожник Петя отправился домой — помыться и переодеться. Но утром следующего дня в квартиру Камневых позвонили из того же отделения милиции, где на дежурство заступила новая смена, и попросили подъехать с тем, чтобы уладить какие-то формальности. Доверчивый Петя, чем уйти в партизаны или пропасть без вести, поперся в милицию, где его встретила совсем незнакомая и трезвая смена милиционеров, откопавшая в сейфе не уничтоженный Петиными собутыльниками протокол задержания. Петю взяли под белые руки и отвезли в народный суд.

Суд по рассказам Пети происходил так. Судья, не поднимая глаз от бумаг, громко говорила:

— Иванов, жену бил?

— Она сама, гражданин судья.

— Пятнадцать суток. Петров, мешал спать соседям?

— Так они, гражданин судья...

— Пятнадцать суток... Камнев. — И тут она подняла голову. — Вам повезло, Камнев, в деле есть признаки статей злостное хулиганство и сопротивление властям. На первый раз пятнадцать суток.

Петя вспоминал свое недолгое заключение, как весьма забавное приключение. Первую ночь, правда,

его продержали в том же обезьяннике, окошко с решеткой под потолком подвала, в разбитое стекло дует. Но ушлые сокамерники, мирные добродушные работяги, радостные от того, что все так хорошо обошлось и они легко отделались, *а челюсть я ей все-таки свернул*, радовался один из них, ухитрялись выбрасывать в окно, под ноги сердобольным прохожим, записочки с телефонами домашних и адресом узилища. Петя поступил так же, написав телефон Татьяны. Как ни странно, побитые бабы, сами же обратившиеся в милицию, теперь тащили мужьям сигареты и даже чекушки, совали в окно, жалея, что по собственной глупости и злобе навредили семье: сидельцам потом на их производствах срезали премиальную тринадцатую зарплату и снимали с очереди на квартиру. К Пете никто не пришел. Он нашел в камере книжку без обложки и принялся читать, не зная, что это такое. Книжка была про войну и недурно написана. Много позже выяснилось, что это был *Горячий снег*.

Потом Петину группу загрузили в воронки и привезли в Бутырскую тюрьму. Никто не охранял их, иди куда хочешь, и один из страждущих, холостой худой мужик, заскочил в троллейбус и был таков. Позже Петя встретил его в камере в *пансионате Березки*, как называли *декабристы*, то есть сидевшие по декабрьскому указу об административных наказаниях, загородную зону: беглеца задержали под вечер в его же комнате в коммуналке, где он опохмелялся, опять отвезли в суд, набросили еще пять суток и отправили прежним маршрутом.

В Бутырках казенный народец загружали в тесные камеры, человек по пятьдесят в коморку, рассчитанную на четверых. Через какое-то время духоты и стеснения, выводили по одному на медицинский осмотр, и заключенные проходили мимо нестарой врачихи, которая никого не осматривала, но будто пересчитывала. Стихийный правозащитник Петя на вопрос, есть ли у него жалобы, отвечал что-то в том духе, что, мол, *чем устроить балаган, посмотрите лучше, в каких условиях у вас находятся люди*. На эту бестактность врачиха отреагировала без гнева, привыкла к сумасшедшим, устало приказала Пете отойти в сторону, кивнула конвоирам. Они вывели Петю из строя и посадили на табурет, причем один из них вооружился машинкой для стрижки. Петя сообщил им, что стричься не будет, после чего его быстро и умело привязали к табурету брезентовыми ремнями. И постригли под ноль, и прекрасные Пети волнистые кудри, как у Ленского, остались лежать шапеновой грудой на грязном тюремном полу.

Вообще, тюрьма на Петю, изучающего жизнь во всех ее проявлениях, произвела сильное впечатление. И пуще другого, даже больше стрижки, к чему он отнесся философски — *новые вырастут*, понравилась тюремная баня. Из Солженицына он знал кое-что о порядках в советских застенках, порядки со сталинских пор не изменились. Петю удивил архитектурный размах этого строения царских времен, бывших конногвардейских казарм. Баня была устроена в гулком каменном зале, так выглядят, наверное, чертоги Ада. Заплесневелый потолок терялся в болотном мареве, оттуда тускло светили невидимые светила, и свисало много прямых ржа-

вых водопроводных труб. Заключенные снимали одежду и вешали ее на передвижную вешалку, и этот подвижной гардероб вдруг уезжал куда-то в сторону, теряясь в тумане — *на прокаливание*, сказали бывалые люди. Голые, озябшие на каменном полу грешники получали каждый по кубику коричневого хозяйственного мыла, пахнувшего дегтем, никаких шаек и мочалок предусмотрено не было, и вдруг из всех труб начинал хлестать кипяток. Сунув туда руку на секунду, можно было намочить мыло и намылиться. Кипяток иссякал так же неожиданно, как возникал, и из трубы принималась хлестать ледяная вода. Безусловно, этот контрастный душ помогал административным хулиганам проститься с остатками хмеля.

В *Березках*, в камере человек на пятьдесят, Петя в первую ночь был *вертолетчиком*, то есть спал на каменном полу на выданном на ночь лежаке, совсем пляжном. Но уже на вторую ему нашлось место на теплых нарах. Вообще, прочие буяны-сокамерники относились к Пете с приязнью и уважением. Скорее всего, потому, что он, единственный, был наголо обрит. Это был, конечно, знак тюремного отличия. Нашелся и дружок по разуму, студент Петиных лет, парень сметливый, он попал сюда после того, как задержавшему его ночью рядом с автомобильной стоянкой милиционеру он решил продекламировать пару цитат из *Пира* Платона. Был и еще один интеллигент, кандидат биологических наук. Он входил в метро на пару с пьяным приятелем, с которым они возвращались из гостей. Приятеля загребли в вытрезвитель, он же, попытавшись вступить, оказался здесь. Самым обидным в своем положении он считал то

обстоятельство, что сам не пил ни грамма по причине язвенной болезни.

По утрам вывозили на работу, на табачную фабрику. Никаких Кармен там Петя не встретил, но между цехами валялись кучи бракованных сигарет. Никто никого опять же не охранял. Петя умудрился сохранить при себе три рубля, *сгоняли за пузырем*, выпили, из будки сторожа Петя позвонил домой, отец внимательно расспросил, где он находится, еще покурили; потом арестантов повезли обратно в застенок. То есть жизнь была сносная, по-своему даже веселая, бродяжья, Петя уже прикидывал, как все это опишет, и лишь много позже наткнулся у Горького на фразу, что, мол, *русский человек как побывает в тюрьме, так сразу пишет мемуары*.

*Но есть один момент, одно время суток в тюремной жизни, который действительно тяготит и спирает душу*, вспоминал потом Петя, и я понял, что такое описанная многими *тюремная тоска*. По словам Пети — это вечер, время после ужина и *оправки*, когда дверь камеры со скрежетом запирается до утра, а до отбоя, когда общий свет сменяют на слабый дежурный, еще часа два. *Именно в это время ты понимаешь, как много ты потерял вместе с волей*. На третий день именно в это время в коридоре, обычно затихающем, слышался какой-то шум, лязганье дверей, крики, возня. Камера притихла. Дверь распахнулась: *Камнев есть?* Петя слез с нар, не успев даже испугаться. Сокамерники совали ему кто носки, кто кусок мыла: всем было ясно, что в его деле открылись какие-то новые обстоятельства и пойдет теперь парень по этапу — даром,

что ли, бритый. Наивные советские люди никогда не знали законов, согласно которым, как ни странно, в те годы административный приговор не подлежал прокурорскому обжалованию. То есть был окончательным. Но не в Петинем случае.

Петю вывели из барака, молча провели через плац на КПП, конвоир где-то расписался, и Петю вытолкнули на свободу. У машины такси стоял Петин отец. Он молча посадил сына на заднее сидение и молча привез домой. Елена Петровна уже ждала блудного Петю: она повелительно указала Пете снять всю одежду в прихожей, прямо у порога, и отправила в ванну с уже разведенной в ней детской пеной *Бадузан*. Так еще раз Петина свобода была куплена ценой отцовских связей: у коллеги и друга Камнева-старшего, знавшего Петю с детства, был фронтовой товарищ-юрист, подвизавшийся именно тогда на Петино счастье главным прокурором города. *То есть советская империя, говорил потом Петя, была государством феодальным, и высший слой жил по иным законам, чем простолюдины, и это было в России всегда, это есть в России теперь, и так всегда будет устроена российская жизнь...*

Звонила Татьяна. Они встречались на углу. Она утирала слезы, просила прощения, она рассказывала какую-то дичь. Будто после ареста Пети хотела застрелиться из табельного милицейского пистолета, который схватила со стола, когда они с тем самым Надькиным лейтенантом опять выпивали в отделении, и показывала, размазывая слезы и тушь, на ладонке сплюснутую пулю, потому что милиционер вовремя ударил ее по руке... Но Петя ее не простил. Потому что у нас, русских,

не заведено, чтобы безутешные подружки и жены не шли за своими любимыми, пострадавшими от режима, во глубину сибирских руд,— пусть и с белым роялем, как княгиня Волконская. *И даже Полине Габль*, сказал мне Петя, *посмеиваясь, даже этой легкомысленной французженке, оказался не чужд русский дух женского самопожертвования. А ведь она, хоть и не училась в аспирантуре, но рисковала даже больше княгини, потому что могла никогда больше не увидеть родной страны, не изведать больше ее милости, жалости и жимолости.* Но дело было, конечно, не в женах декабристов. Дело было в том, что Петя решил всерьез переключиться на литовское направление, о чем я сейчас расскажу. Иначе говоря, использовал свое недолгое заточение как предлог, чтобы порвать с поднадоевшей ему Татьяной. Хотя как бы он ни хорохорился, мне было заметно, что обиду он затаил и вспомнил теперь об этой своей любви не без горечи, как все мы вспоминаем неумную свою юность.

## **ОСТОРОЖНО, СЕГОДНЯ У НАС БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ**

Но я забежал вперед. В то лето, когда Петя протиснулся с дневным отделением университета, его, гуманитария, как ни странно, действительно приняли на работу в экспедицию, не лаборантом, правда, а рабочим третьего разряда, и в середине июля он должен был отбыть в город Баку, чтобы сесть на СРТ, средний рыболовный траулер, переоборудованный под нужды геофизиков. Сесть и отчалить.

Это было необычное лето: под Москвой горели торфяные болота, городские улицы даже в центре то и дело заволакивало вонючей гарью, а на Азовском море впервые за многие годы обнаружилась холера. Всё вместе будоражило и кружило голову, как азиатская дурь, и Петю охватил зуд свободы и тяга к бродяжничеству. Не сдав последний экзамен, тот самый *тыр-пыр*, каковой факт, я уже говорил, до поры он скрыл от отца и получил от него обманом кое-какие деньжата, Петя решил использовать свободный июнь для того, чтобы рвануть в Крым. А оттуда, возможно, ему удалось бы в июле добраться до Баку, минуя Москву, за что, кстати, его, скорее всего, выгнали бы из экспедиционных рабочих, с его первого в жизни места работы — кто-то же должен был в Москве грузить и отправлять оборудование.

На Черном море до того Петя бывал, кажется, дважды, на Кавказе и в Крыму в школьные годы с отцом. В Адлере, Петя запомнил, он в тринадцать лет съел очень много шашлыка, до жара и рвоты отравился несвежей горчицей и вытянулся вверх, а в Коктебеле веселая компания коллег отца как безумные искали на Кара-Даге сердолик, как будто были не физики, а геологи. Там же четырнадцатилетний Петя чуть не утонул: поднялся шторм, и, не смотря на предупреждения о том, что поднялась большая волна, — это весь день раздавалось из динамиков на пляже, — он полез в воду. А потом едва выполз на берег, потому что волны, откатываясь, упорно тащили его назад.

Помнится, много позже, когда мы были с ним в деревне, Петя, глядя на озеро, сравнивал его с морем.

Море по его словам даже в шторм есть символ постоянства и вечности, чего не скажешь о прочих водоемах. На морском берегу легче верится хоть в титанов, хоть в богов и героев, фей и духов, а заодно в бессмертие души и в адовы муки. И не попади Данте в ссылку в Равенну, а останься в тесной братоубийственной, темной и холодной, сухопутной Флоренции, еще неизвестно, какими бы вышли у него *Песни ада*. Именно из-за того, что теплое море всегда шумит о вечности, прибрежный средиземноморский католицизм так истов и душераздирающ, и так угрожающ нависающий над маленькими грешниками в красных штанишках огромный крест Голгофы в капелле Ватикана. Католицизм более суров, чем сухой континентальный протестантизм, германский или швейцарский, не говоря уж о языческом, веселом и лубочном, праздничном православии с его купанием в прорубях на Крещение и освященными крашеными яйцами на Пасху. Но, разумеется, не подобные размышления волновали в те далекие годы Петю, тогда он еще не имел склонности к лекционной работе на общественных началах. Нет, его по преимуществу занимала возможность знакомств под звуки песен Челентано с девицами на террасе коктейль холла в Гурзуфе. С последующими совоккуплениями на пустом ночном пляже под звуки прибоя — преимущественно оральным способом.

Блуждая по побережью и *хиппуя*, как тогда выражались, ночуя где придется, на пляже или в парке, а то и вовсе под кустами на территории пионерского лагеря *Артек*, Петя переживал свое бродяжничество как давно манившую дивную и нестерпимо сладкую свободу. В

конце концов, из триады *молодость-здоровье-свобода* только последней ему и не хватало. *Хипповать* Петя научился у московских хиппи, местом сбора им служила в те годы *плешка*, университетский скверик прямо под окнами факультета, на котором Петя учился. Но в Москве он не решился бы столь радикально поменять свой вид и образ жизни, отрастить патлы, нацепить бандану, обвешаться цепочками и платочками и улечься на газон в ожидании неминуемого милицейского наряда. Но здесь, на море, Петя соорудил себе ожерелье из раковин, запустил бородку, украсил панаму павлиньим пером, благо павлины свободно бродили по территориям здешних санаториев, и в таком виде и повстречал свою первую жену литовского происхождения.

Дело было так. Он познакомился на той самой веранде с двумя прелестными подругами, и не сразу смог сделать выбор. Они были студентками Вильнюсского университета: одна светленькая и грудастая Рута, очаровательного крестьянского типа, с зелеными глазами и выгоревшими волосами цвета сырой соломы, она отчего-то напоминала Пете деревянную скульптуру. Другая звалась Мэйле, что переводилось с литовского довольно символично — Любовь, темно каштановая, с глазами отчего-то восточными, загадочными, гибкая, с высокой светлой шеей, почти не тронутой загаром из-за того, что свои пышные волосы она носила распущенными. Оказалось, она литовка лишь по отцу, по матери — грузинка, и Петя уже к концу вечера остановился на этом коктейле, который показался ему куда более пикантным, чем пасторальная прибалтийская краса. Потом он, кстати, часто вспоминал эту самую Руту не без запоздалого

сожаления. Они втроем провели несколько вечеров. Но когда оставались вдвоем, Майле была неуступчива, так — прижимания и бесстрастные поцелуи, что Петю раззадорило, поскольку ему почудился в этой сдержанности своего рода европейский стиль. Вскоре они отбыли восвояси, расцеловав Петю по очереди в обе щеки и оставив ему свои вильнюсские телефоны.

Оказалось, что добраться из Крыма не только что до Баку, но даже до кавказского побережья довольно затруднительно. Учитывая, к тому же, что отцовы деньги Петя уже благополучно прогулял. Конечно, можно было попытаться просочиться на паром без билета и попасть, скажем, в Тамань — *мирным контрабандистом*. А уж там ракетами и катерами приблизиться к Сухуми. Или попытаться добраться до Краснодара или до Ордженикидзе, вернувшего себе позже славное имя ермоловских времен, а там сидеть на какой-нибудь скале над военно-грузинской дорогой, как отец Федор, питаясь ворованной колбасой. Нет, нужно было *прорываться* в Москву, решил Петя. И здесь мы подходим к одному важному моменту, весьма характеризующему моего приятеля. А именно — к Петиным способностям гипнотизера.

Однажды Петя, не помню, по какому случаю, провел со мной на эту тему собеседование. Вот какие примеры из своего опыта он приводил. Когда он еще учился в обычной, не языковой, школе по месту жительства, директор заведения оказался завзятым шахматистом. И, соответственно, в этой школе все всегда играли в шахматы. Участвуя в общешкольном турнире, пятиклассник Петя обыграл в пух и прах одну подающую

шахматные надежды девятиклассницу. Петя сам страшно удивился тому, что такое случилось, а его партнерша, получив мат, покраснела и разрыдалась. Петя рассказывал, что на него будто сошло какое-то наитие. Он вдруг неожиданно для самого себя сконцентрировался, умственно сгруппировался, и нужные ходы стали сами приходиться ему в голову, как если бы он читал мысли своей противницы.

В другой раз, в *красном уголке*, где висели медальные профили основоположников и портрет *бровеносца в потемках*, как тогда народ именовал своего лидера и партийного вождя Брежнева, а также предвыборный плакат, зовущий на выборы в советы рабочих и крестьян, он играл на бильярде с соседом по дому. Тот тоже был постарше, как и побежденная некогда шахматистка, и над Петей, который долго ждал своей очереди взять кий, всячески подтрунивал. И с Петей произошло нечто подобное тому, что было тогда, за шахматной доской: он стал класть такие шары, которые было не пробить и чемпиону. *Наверное, резервы такого рода есть у каждого*, заключил Петя, никогда не умевший толком играть ни в бильярд, ни в шахматы, *вот только нужно очень захотеть победить, но люди, как правило, страшатся собственных побед.*

Еще более поразительный случай произошел с Петей именно в то крымское лето в аэропорту Симферополя. Он, имея при себе только студенческий билет и ни копейки денег, неведомо как убедил командира корабля взять его в кабину пилотов. Несмотря на то, что в те тихие благословенные имперские времена еще ничего не знали о воздушном терроризме, прокатиться в каби-

не пилотов из Крыма в Москву все равно было весьма проблематично. К тому же даже с деньгами в разгар сезона билетов на самолет было не достать. Петя сам затруднялся объяснить, как у него вышел этот фокус. Он помнил только, что не сочинял никаких жалостливых историй, а сказал все, как есть: он бедный студент, деньги кончились, а ему надо успеть к отправке его экспедиции на Каспий. И что он оставит свой студенческий в залог того, что вернет деньги за билет. Вряд ли сыграл роль последний посул, потому что студенческий билет пилотов не интересовал. Но Петю взяли на борт, в полете напоили лимонадом и даже провели для него экскурсию по приборной доске.

В Москве Петя узнал, что из университета он отчислен. Узнал случайно, от сокурсницы. Это, конечно, было неприятное известие, но легкомысленный Петя понадеялся, что отец осенью все как-нибудь уладит. Забегая вперед, скажу, что Камневу-старшему действительно многое удалось уладить: после того как он помог Пете освободиться от армии и спас из узилища, он добился, что сына перевели на заочное отделение, которое тот потом быстренько и закончил. А пока же Петя собрал экспедиционный рюкзак и перед отъездом не преминул написать нежное письмо Татьяне в Омск, а также позвонить по вильнюсскому телефону, получив вежливое приглашение посетить Вильнюс — гостиницу ему закажут. Он пообещал приехать в столицу советской Литвы осенью и отбыл на заработки.

О своих каспийских приключениях Петя, как я уже упомянул, потом написал повесть. Это была лабуда в духе уже отгремевшей к тому времени так называемой

молодежной прозы. Одно название чего стоило — *Нет земли подо мной*. А ведь к тому времени Петя считал себя уже прожженным парнем. По-видимому, здесь имело место своего рода раздвоение, свойственное не только молодым людям: нигилист и скептик, Петя уже тогда, как мы помним, одной рукой сочинял совершенно *непроходные* рассказы, что не мешало другой выводить самую расхожую романтическую молодежную прозу. При этом заподозрить Петю в осознанной конъюнктуре было решительно невозможно. Случаются же ерники в быту, на официальной сцене ведущие себя сервильно, причем в обеих ролях они абсолютно искренни. Так или иначе, позже эту повестушку отклонили в журнале *Юность*, уже уставшем к тому времени печатать про мятущихся студентов и выдавшем *Бочкотару*, предвестницу гениальной повести *Москва-Петушки*. Но Петя тиснул-таки эту вещицу, сочиненную в девятнадцать лет, в своем первом тощем сборничке, вышедшем в издательстве *Молодая гвардия* лет через пять. Много позже я прочитал-таки этот опус, хотя Петя мне не велел этого делать, стыдясь не только самого текста, но и марки издательства. Это была бойкая, но поверхностная вещица, и Елена Петровна была права, когда острила по поводу такого рода прозы — умный Петя и впрямь выглядел в ней автором-простачком. С наивностью комнатного мальчика он изображал волны и барханы, верблюдов, встреченных им в Кара-Кумах, когда судно пересекло Каспий и зашло в Красноводск за водой и продуктами. Описывал четырех бальный шторм, при котором многие блевали, а его лишь мутило. Того, что у критиков называется конфликтом характеров, не

было и в помине. И мне мало что запомнилось, разве что описание полчища летучих мышей, облепивших верхнюю, крашеную белой краской, палубу, когда корабль ночью бросил якорь в устье Куры...

По возвращении осенью Петя получил заработанные деньги, сумел увернуться от объяснений с отцом, который, впрочем, как мы знаем, еще ничего не знал об отчислении сына, и сел на Белорусском вокзале в поезд Москва-Вильнюс. Майле встретила его, довела до гостиницы, но в номер подниматься отказалась. Когда они гуляли по городу, и Майле показывала Пете местные достопримечательности, его приворожила маленькая, красного кирпича, пламенеющей готики церковь Святой Анны. Впрочем, он не столько глазел по сторонам, сколько приглядывался к своей подруге, обнаружил провинциальную застенчивость и своего рода милую неуклюжесть. У нее оказались ноги — *бутылочками*, как тогда говорили, и она неустойчиво шла по булыжнику на высоких каблуках. Даже ее акцент на фоне башни Гидеминаса стал много заметнее. *Знаешь*, говорил потом Петя, *я не в нее влюбился, а в Литву, вот что...*

Несмотря на то, что тот год в жизни Пети был полон приключений, он среди своих забот ухитрился еще несколько раз побывать в Литве. И в глубинке, на хуторах и озерах, и в Каунасе, где с ним отказывались говорить по-русски, и в Паневежисе, где его ограбили в при вокзальном ресторане. В каком-то глухом углу, куда он поехал паломником к одному знаменитому на всю страну ксендзу-поляку, проведенному пятнадцать лет в лагерях в Вормите, его вообще чуть не убили. Петя при-

обрел русско-литовский разговорник, и даже по прошествии трех десятков лет мог при случае сносно произнести *лаба диена, аш ижгярчау лиетовюс калбос* и самое коронное и заветное *аш ишгярчюю трупутя дактиня*, последнее означало, что, мол, он, Петя, с охотой выпил бы *немного водки*.

Конечно, всякий раз, бывая в Литве, Петя виделся с Майле, но их отношения оставались, как это ни странно, платоническими. Впрочем, она уже привыкла к Пете, они много смеялись, гуляя по городу взявшись за руки, ходили по костелам, даже на польскую службу в *Петра и Павла*, во время которой украдкой целовались в потемках собора, под темными витражами, перекусывали в караимском кафе печеными чебуреками, по ночам ездили в невиданное тогда в Москве ночное кабаре с канканом, который отплясывали полуобнаженные девицы.

О ксендзе, окормляющем сельскую паству в каком-то глухом углу, Пете рассказала однокурсница-литовка. Ехать одному, без языка и без проводника, в литовскую деревенскую глушь она Пете не советовала, но какой там, Петя ведь был герой, ему было море по колено, и он отправился. И, что самое удивительное, добрался-таки до этого затерянного в лесах, занесенного снегом сельского прихода. Здесь он слушал в пустом, насквозь промерзшем, деревянном костеле звуки органа, на котором для него играл старик-ксендз, очень худой, ласковый, с пронзительными очень светлыми, будто промытыми навсегда ссыльной ледяной талой водой, глазами. От него Петя получил важный пример беспримесной и четкой ненависти к коммунистам вообще, к со-

ветской власти в частности. Узнав, что Петя крещен, старик отнюдь не стал зазывать его в католичество. Напротив, он вручил Пете, из уважения к его неокрепшей еще вере, памятные подарки: том житий православных святых от июня по август синодального издания 1873-ого года и маленькое Евангелие по-русски, отпечатанное на папиросной бумаге Библейским обществом в Брюсселе. А также некоторую сумму денег на обратный путь, поскольку Петя не смог соврать, отвечая на прямой вопрос ксендза, и признался, что истратился. Кстати, именно эти деньги и отобрали у него в Паневежюсе несколько фашиствующих молодчиков, которые свой грабёж паковали в обертку литовского национализма. Что ж, Литва дала, Литва и взяла, но это тоже послужило Пете уроком, отличной прививкой против любых громко провозглашаемых национальных чувств. А свое первое папиросное Евангелие Петя потом повсюду возил с собой.

### **В ПЕЙЗАЖЕ ХОРОШИ И ЦЕРКОВЬ, И ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА**

Поскольку милиция, по наущению *Галины Борисовны*, как именовали в те годы в интеллигентских кругах КГБ, продолжала охоту на Петю, ему пришлось последовать совету участкового и снова отправиться в *экспере-дицию* все от того же сердобольного академического института, своего рода круговая порука образованного класса: устраиваться на постоянную службу Петя решительно не желал. Он хотел оставаться тунеядцем и бродягой, его манили новые дальние путешеств-

вия и опасные приключения. Понятное лермонтовское устремление ранней молодости: прочь от вас, *на Кавказ*. А уж в семидесятых годах прошлого века эскапизм вообще был в моде у нервных и чувствительных городских юношей, многие из которых, как и Петя, являлись изгнанными комсомольскими бурсаками, не желавшими мириться с порядками университетов, провонявших партийным духом. И многие молодые люди того поколения так и сгинули, спились или погибли, где-нибудь в Сибири или на Сахалине, куда отправлялись по своей воле, в попытке спрятаться от советской власти, от *немытой России*, в каких-нибудь дальних углах и на забытых окраинах империи, где, как они предполагали, жизнь была чище, а власть дальше.

На сей раз Пете опять пофартило — устроиться лаборантом, но в противоположном от Каспия направлении, на Севере. И уже в декабре Петя сидел в купе *фирменного* поезда *Арктика*. Когда он уезжал, в Москве стоял тридцатиградусный мороз. Воняющий гарью промерзлый Ярославский вокзал клубился паром, вырвавшимся из зала ожидания и из дверей вагонов мурманского поезда, готового к отправлению. Кто-то из приятелей одолжил Пете старые отцовские летные унты. У него самого имелся овчинный тулупчик, привезенный некогда из Кургана, последняя память о его невесте Альбине Васильевне Посторонних. В вагоне было холодно, как в карцере. Под Москвой в окошко, если отодвинуть застывшую занавеску, была видна еще обычная разруха, какие-то косые домишки, нищенские переезды, сиротливые семафоры. Но ближе к Вологде уж ничего не было видно, все пропало в снежном маре-

ве, черно-белый лес тесно придвинулся к самому полотну. Петя выпил с попутчиками свою водку, потом их спирт, залез на верхнюю полку прямо в тулупе, потому что вдоль вагона гуляла поземка. Но, когда поезд добрался до Кольского полуострова, после суток с лишним пути Петя сошел темненьким северным деньком на станции Апатиты. На перроне была слякоть, здешний народ щеголял в легких ботиночках, и пока Петя добрался до местного филиала Института физики земли, он запарился и взмок в своем приполярном обмундировании.

В лаборатории, где Пете предстояло следить за лентой самописца, присоединенного к какому-то геофизическому прибору, добродушные трезвые мэнээсы, встретили его приветливо. И один, в ободранном свитере, с бородой под Хэмингуэя, успокоил, что, мол, *работа непыльная*. Его определили в милую деревянную гостиницу, пахшую свежей краской, оструганной доской и как будто Новым годом. В комнате стояло четыре кровати, но никто не жил. *Я чувствовал себя Чуком и Геком одновременно*, пытался потом передать свои северные ощущения Петя.

За два месяца Петиного пребывания в этом чудном уютном, какой бывает только северная провинция, заснеженном городке, лишь однажды в его номере ночевал чубастый маленький геолог, кандидат, кажется, наук, возвращавшийся после *поля*, из партии в Ленинград. Как все случайные попутчики, и этот был разговорчив. Он рассказал Пете, что женат одиннадцать лет и ни разу жене не изменил. Казалось, он жалеет об этом факте, что не мешало ему тихо гордиться своим постоянством.

Впрочем, он был тревожен, скорее всего, он не мог с уверенностью сказать то же про свою супругу, ожидавшуюся мужа в городе по полгода. К тому же, помимо своей девственности, геолог оказался не пьющим, что было уж вовсе несусветно. Утром квартирант сгинул, как не было, и Петя опять оказался предоставлен самому себе.

Помимо номера в гостинице, в полном Петинем распоряжении оказался еще и вагончик за городом, *на полигоне*, как здесь говорили, там стояли какие-то антенны, а иногда оттуда запускали зонды. Петя стал наведываться туда, чтобы наблюдать северное сияние, кипятил на плитке воду в чайнике, заваривал круто, делал бутерброды с салом и чесноком на черном хлебе, запивал сладким чифирем, закусывал шоколадом. На полигоне Петя застал однажды некрасивую девушку с красивой фигурой и длинным лицом мечтательницы. Он предложил ей чая с водкой, от водки она отказалась. Выяснилось — она спортсменка-горнолыжница, катается на трассе в Кировске, это недалеко, и *ждет своего парня*, служащего в армии. Это умилило Петю, до того он слышал о верных солдатских подружках только в браваурных песнях советских ВИА. Вот и Майле ждет его в Вильнюсе, как солдатская невеста, хорошо.

Он, разумеется, решил написать повесть об этом своем северном приключении, но для начала сочинил витиеватое, сбивчивое письмо и отправил его в Вильнюс, на большую землю, так сказать. В письме Петя писал, что Север не такой холодный, как можно было бы предположить. Наверное, потому, что здесь очень сухой воздух. В ресторане кормят котлетами и эскалопами из

оленины, очень красивые жены мурманских моряков приезжают сюда гулять по субботам потому, наверное, что здесь их никто не знает, и они могут повеселиться анонимно. Вот только гулять им не с кем: мужской контингент редок и пьян. Наверху, в горах, на плато Росвунчор добывают апатитовую руду открытым способом, то есть взрывают породу тротилом, а потом сгребают на огромные самосвалы, одно колесо которых больше Петиного роста. Тяжело груженные машины идут вниз по смертельному, обледенелому серпантину, и на обочинах красуются плакаты *водитель, помни, тебя ждут дома*. Несмотря на это напоминание, у подножья горы — большое кладбище. На плато, конечно, есть и простые работяги, трудящиеся вахтовым методом: их забрасывают наверх на две недели специальным лифтом, потом спускают вниз, и вторые две недели они пьют в своем общежитии портвейн ящиками. Этим тоже не до морячек. Так что тем остается в своей девичьей компании пить фужерами шампанское, а потом танцевать в кружок темпераментные танцы под музыку ВИА, выпитого с Украины. Наибольшим спросом пользуется плясовая *Наш адрес не дом и не улица, наш адрес Советский Союз*. И еще одна, тоже зажигательная, но вполне таинственного содержания: *остался от тебя на память у меня портрет, твой портрет, работы Пабло Пикассо*. Подумав, Петя не стал кланяться Руте, но в ответном письме Мэйле получил-таки от нее привет.

Я нигде не упомянул, что среди многих своих, амурных и литературных, занятий, Петя успевал заниматься фотографированием. Скажем, у него получился

отменный портрет тринадцатилетней сестры Лизы, и этот фото с тех пор висело в рамке под стеклом в кабинете профессора Камнева, который мог одновременно гордиться и талантами сына, и красою дочери,— по нынешнему идиотскому выражению рекламного происхождения *в одном флаконе*. Петя много снимал и на пленере, и некоторые его пейзажи были хороши. Мне особенно понравился один, когда Петя с неохотой, но, уступая моим приставаниям, показал мне как-то свои ранние снимки. Он признался, впрочем, что и сам любит этот пейзаж, и даже пытался использовать его описание в одной незаконченной повестушке. На этом фото была изображена осень на Воробьевых горах, листья в лужах на тротуаре, скособоченная благодаря выбранному ракурсу церквушка, святящая сквозь голые ветви, а на переднем плане слева детская коляска, от которой отвернулась женщина, в попытке спрятать от ветра лицо за поднятым воротником развевающегося пальто.

Этот лирический, хоть и тревожный снимок, кажется, вполне отражает романтический настрой раннего Пети. Во всяком случае, так и не дописанная повесть называлась *Осенний пейзаж с церковью и детской коляской*. Кажется, посвящена она была целиком еще несостоявшемуся по сути роману с Мэйле, то есть являлась лирической исповедью по неостывшим следам. Но скорее это было как бы развернутое любовное послание, поскольку к героине повести герой-рассказчик обращался на *ты*. Когда я получил доступ к архиву Пети, который предоставила в мое распоряжение Лиза, я не нашел эти две большие тетрадки, похожие на гроссбухи, исписанные невозможным Петиним почерком, ко-

торые когда-то он мне показывал, грозясь повесть дописать. Возможно, они пропали на обыске, а может быть, Петя сам их выкинул: он в последние годы выбрасывал свои многочисленные незаконченные рукописи, окончательно изверившись в своем писательском призвании и спокойно констатируя, что все, что останется после него, *никому не будет нужно*.

Зато я обнаружил шесть писем Мэйле к нему. Два — в Апатиты, *Центральная почта до востребования*, четыре более позднего времени. Вот первое, написанное под Новый год. Заметим сразу, начинается оно обещающим обращением *любимый*. И дальше: *далеко ты уехал, я только вчера получила от тебя письмо, и сейчас интересуюсь прогнозами погоды и если можно им верить, то там даже теплее, чем у нас*. Наверное, Пете, приятнее, чем метеорологические замечания, был финал: *Петя, я все время вспоминаю тебя, наши встречи и твои разговоры, мечтаю о будущих, люблю тебя и очень, очень жду. Целую М.* Была и приписка: *Рута тебе много раз передавала привет*. И кто скажет, что это писала не влюбленная женщина, тот ошибется. Но и особой страсти в этих строках нет. Но вот второе: *Любимый, здравствуй! Я необыкновенно благодарна тебе за слова, которые ты подарил мне. Ты даже не представляешь, как я тебя люблю и как скучаю по тебе. Даже во время прощания на вокзале я до конца не понимала, как мне будет плохо. Милый, мне очень хочется побыстрее тебя увидеть, есть много о чем рассказать, а письма ужас как трудно мне их писать. Ты напиши хоть ориентировочно, когда покинешь свое северное пристанище, зная дату, будет легче тебя*

*ждать, хотя, пока я тебя не увижу, вряд ли мне будет спокойнее: трудно представить с каким нетерпением я тебя жду. Хороший мой, вспоминай обо мне чаще. М.* Чувствуя неловкость, но и оправдывая себя тем, что биографу позволено копаться в чужих интимных посланиях, я попытался вообразить, с каким чувством молодой Петя читал эти строки. Ну, волнение, чувство удовлетворения мужского тщеславия, нежность, наверное. Но, подозреваю, зная Петю много лет, все эти уверения в любви, которых многие мужчины, сужу по себе, за всю жизнь так и не дождались и никогда не услышали, он уже тогда, в молодые годы, принимал не просто как фигуры речи, но — как должное. Ведь это он сказал мне, я уж упоминал, *я не ее полюбил, я полюбил Литву*. Да и все дальнейшие события подтверждают это предположение.

Скажем, когда Петя вернулся в Москву в начале марта, он, продолжая в письмах любовный диалог с Майле, не стал увольняться, потому что тут же оформился в новую экспедицию, на этот раз в Среднюю Азию. Зная Петину непоседливость и готовность к авантюрам, объяснить тот факт, что он не съездил хоть на несколько дней в Вильнюс, можно только одним обстоятельством: ему не слишком хотелось туда ехать. В Москве он покружился в богемном вихре, оформил документы на заочное отделение и, сдав походя какие-то не достававшие зачеты, оказался на третьем курсе: летом ему предстояло еще кое-что сдать и перейти на четвертый. Конечно, он звонил в Вильнюс, клялся в любви, но уже в начале апреля гулял по городу Фрунзе и даже из спортивного интереса купил у фонтана на

площади Ленина по сходной цене *баш* анаши, что хватало на добрых четыре *косяка*: при том, что Петя никогда не *наркоманил* всерьез, предпочитая традиционный православный способ получения кайфа. Два месяца он питался бараньим лагманом и печеной форелью, поднимался на альпийские луга, любовался снежными хребтами Ала-Тау, купался в ледяной воде озера, прогревавшегося днем лишь сантиметров на пять, наблюдал, как киргизские селянки в разноцветных косынках собирают мак на полях, оцепленных русскими автоматчиками, видел мусульманские похороны, когда мужчины бегом тащат саван с покойником к белому склепу. И читал письма возлюбленной: *Любимый мой! Я тебя очень-очень люблю. Иногда я просто с ума схожу без тебя, дни такие длинные, ночи тоже, и их еще так много. Петя, все мои желания, мечты, планы связаны только с тобой, но когда я начинаю пересчитывать дни, оставшиеся до нашей встречи, я прихожу в ужас — как еще долго ждать. Для меня уже ничего не может измениться, но все же, когда ты уезжаешь... Я чуть не со слезами читаю эти строки, но бесчувственная скотина Петя, полагаю, пробежал их мельком. Этакая печоринская пресыщенность, байроническая, блядь, поза. Это ж надо было так вскружить голову бедной девице! Но вот другие ноты, видно, Петя в своих письмах стал давать уроки в тишине: *Любимый, очень внимательно прочитала твое письмо. Не скрою, родные эмоции оно во мне не вызвало. И я много думаю о нас... Хочется сказать: беги, милая, потому что Петя, очевидно, стал остывать. И, по-видимому, принялся делиться своими сомнениями, так сказать метаниями измучен-**

ной души, как пишут дурные лирики. Потому что письмо Майле заканчивается так: *Хороший мой, я тебя люблю и верю в твои способности и силы, в твою удачу, и если мы по-настоящему хотим быть вместе, мы сможем понять друг друга.* И наконец: *Милый, я твои письма готова читать с утра до вечера, но, к сожалению, ты меня ими не балуешь.* Дальше следует пресный отчет о том, как они с Руттой ходили в кафе, что-то о трудоустройстве, вряд ли Петя дочитал это письмо до конца. Однако, в июле он оказался в пансионате в Паланге, куда Майле им загодя достала путевки.

Это предприятие отдыха представляло собой ряды железных бочек, прижатых одна к другой и стоявших под соснами. В каждой бочке было по две кровати. В первые два дня у них за стенкой кто-то неумоимо трахался, смачно, со стонами. Когда Петя, перебравшись на постель Майле, наконец, впервые вошел в нее, она, после того как он отвалился на спину, сказала, что да, она была уже не девушка, у нее был парень на третьем курсе, но, когда познакомилась с Петей, она с ним порвала. Но Пете на все эти гинекологические подробности после истории с мнимой девственностью Альбины Посторонних было решительно наплевать. Нет, он не был таким простаком, чтобы вообще *не верить женщинам*, но полагал, что в некоторых сферах от них трудно ждать искренности. И сказал в ответ, что предлагает ей пожениться.

Потом он рассказывал, что решительно не помнит, зачем он это сказал и с какой целью потом на Майле женился. Может быть, на него подействовала экспедиционная жизнь и ее нежные письма, и после полки в

тесной душной каюте с иллюминатором, который нельзя было открывать, и спального мешка, в котором можно было вечером обнаружить скорпиона или тарантула, после раскалившейся за день брезентовой палатке Петя захотелось отведать супружеских перин, его выражение. Кроме того, Мэйле была очень красивая женщина. Но нет, это было бы слишком просто. Скорее, при всей своей энергии, Петя все-таки был измотан и мечтал перевести дух. Возможно, подсознательно он тяготился и своим социальным изгойством, беготней от армии и милиции, и в нем проснулось чувство самосохранения.

Действительно, как это ни странно, когда Петя женился, все как-то улеглось и сложилось. Хотя и не надолго, к спокойной семейной жизни Петя оказался совершенно не готов. Но тогда, получив согласие, Петя вернулся в Москву, где в одноименном универмаге продавец вынес ему из-за кулис отдела мужского платья вполне приличный итальянский темно-коричневый костюм-тройку, правда, с искрой. У Пети это был первый в жизни парадный костюм, и он без сожаления переплатил продавцу сорок рублей, которые тот потребовал, поскольку костюм, якобы, был уже отложен. Венчаться Мэйле не позволили родители, потому что отец устроил ее экономистом в закрытый институт, и если бы там о венчании узнали,— Вильнюс маленький город,— ее бы выгнали. Петя не огорчился, потому что венчаться в костеле он все равно не стал бы, хотя ему так нравились звуки органа.

Медовый месяц молодые провели в Кишиневе, где так хорошо дышится осенью: в специальной партийной гостинице им зафрахтовал номер один из молдавских

аспирантов Петиного отца. Они ели жареные по-парижски кафтаны, запивая местным *Савиньоном*. После любви в номере шатались по *каса марам*, поглощая жареного на гратаре мяса по несколько порций в день на каждого. Они ходили в местный театр оперы и балета слушать молдавскую приму Биешу, а также на *Лебединое озеро*. Биешу пела отменно, но с балетом не ладилось: кордебалет, казалось, думал не о танце, а как бы не упасть. *Если в этом городе так же было и в Пушкинские времена*, вспоминал потом благодарный Петя, *то трудно понять, отчего Кишинев тогда служил местом ссылки*.

Впрочем, с этим городом у Пети навсегда оказалось связано одно неприятное воспоминание: его молодая жена стала к месту и не к месту повторять *ты слишком много пьешь*. Потом выяснилось, что ее папаша некогда шибко зашибал, лежал в клинике, зашивался, опять развязывал, и угомонился лишь тогда, когда ему сказали, что он так и останется капитаном. Он завязал, дослужился до подполковника, но жена-грузинка, нынешняя теща Пети, этого никогда так и не смогла забыть: грузинские мужчины никогда не страдают славянским недугом, называемого *запой*. Возможно, она и давала дочери уроки бдительности по этой части. *А ведь я пил только вино*, вспоминал потом Петя обиженно. Что не помешало Пете, когда им устроили экскурсию в винные подвалы, налакаться-таки сухим хересом вдрызг, что, впрочем, и входило в программу принимающей стороны.

Поздней осенью Петя увозил жену в Москву. Теща провожала их в Вильнюсе на вокзале. Перед этим Петя

выпил в компании непьющего тестя две поллитровки под тещины сациви с орехами и драники со сметаной, пришел в разудалое настроение и в последний момент выскочил из вагона на перрон, встал рядом со своей новой мамой и принялся махать рукой медленно уплывающей от него молодой жене, как бы ее провожая. После этой веселой шутки теща бурно разрыдалась, будто предвидя незавидную участь своей дочери в далекой и чужой столице. Что ж, материнское сердце не обманешь. Но Петя в последний момент вскочил-таки на подножку, а там отправился в вагон-ресторан, выпил еще грамм триста водки, а ночью упал в проход с верхней полки, не получив ни единой царапины, хотя трезвый человек при таком падении свернул бы, наверное, себе шею. В Москве он продолжал пить и гулять, не изменяя своим холостяцким привычкам. Бедная Майле тихо жила в чужом доме, с ней были приветливы, она чувствовала — притворно. Впрочем, иногда Петя гордился супругой. Однажды один приятель его отца со школьных еще лет, автор либретто для оперетт, пригласил всю семью Камневых на его премьеру. Сидели в директорской ложе, и Петя, пока не погас свет, мог убедиться, как эффектна его жена: все мужчины в зале не сводили с нее глаз.

У Пети часто бывали гости. Напиваясь, он устраивал нелюбимой жене сцены ревности, она и впрямь строила глазки одному знакомому актеру, который умел сноровисто играть на дудочке. Актер был евреем из Кишинева, но носил фамилию Иванов. Потом он благополучно отбыл в Израиль, отбив-таки жену у одного поэта, тоже Петиного знакомого. Изменял Петя жене чуть не на

ее глазах. Но в Литву больше не ездил. Майле изредка заговаривала с Петей о его пьянстве, тот, как заправский алкоголик, то и дело обещал *притормозить*. Майле писала матери, что *муженек катится вниз*. Наверное, со стороны так оно и было: Петя очень много пил. Потом он рассказывал, что его остановило. Он где-то случайно прочел, что у наркологов есть такой признак алкоголизма: пьющий человек начинает понижать социальный уровень общения, выпивая во все более неприятельных компаниях. *Я с ужасом вспомнил*, рассказывал Петя, *что однажды у магазина согласился выпить на троих с какими-то незнакомыми алкашами*.

Так молодая семья дожила до лета, Петя снял дачу в Тарусе. Точнее, он снял ее в доле с матерью: Елена Петровна с Лизой проживут там первую половину лета, Петя с женой вторую. Конец июля выдался жарким, и они каждый день ходили на Оку окунаться. Однажды они сидели на берегу, рядом мирно отдыхало некое семейство — совершенно средне-статистическое: глава семьи лет тридцати пяти, по типу — инженер из НИИ, жена бухгалтерского типа и невзрачный сын лет десяти. От скуки Петя поглядывал за ними. Мать семейства неутомимо командовала своими домочадцами, запрещая мальчику прикасаться к лапам, потому что сегодня *большое течение*, что было правдой: наверное, в верховьях накануне прошли дожди. Мужу же она не позволяла опохмелиться. Как мог понять Петя, подглядывавший за ними из-под панамы, у мужика была припасена четвертинка, но жена не позволяла ему отглотнуть, потому что *пьяным нельзя лезть в воду*. Это в целом верная заповедь на сей раз сыграла с этой женщиной тра-

гическую шутку: ее муж полез в холодную воду, не опохмелившись, и там у него остановилось сердце. Его вытащили на берег уже мертвым. Мобильных телефонов тогда не было, кто-то сбегал за тарусскими спасателями, они приплыли на катере, уложили туда мертвое тело, прикрыли брезентом. Жена, казалось, не сразу поняла, что в один миг, пожалев пятьдесят грамм водки, лишилась и мужа, и отца своего ребенка, а когда поняла — страшно, по-волчьи, завывала. Она шла по берегу, воя и таща за руку ошарашенного мальчика, забывшего с перепугу на траве свои ласты, а по воде тихо плыло тело главы еще недавно, пять минут назад, не слишком счастливой, но обыкновенной *полной* семьи. *Вот видишь,* сказал Петя Мьяйле назидательно, *к чему приводит женское упрямство.* Не сказав лишь, что решил с ней развестись. Впрочем, в разговоре с отцом, который, узнав об этом его намерении, решил вразумить сына-шалопая, Петя сказал: *понимаешь, она красивая, на нее оглядываются на улицах, но мне с ней страшно скучно, с ней я ничего не напишу.* И Камнев-старший не нашелся что возразить.

В день развода Петя повел Мьяйле в ресторан *Узбекистан* — *отметить.* *Гуляют же комсомольские свадьбы,* объяснил он бывшей жене, *а у нас будет комсомольский развод.* После ресторана они поехали к ней на квартиру, которую ей снял Петя, и провели самую прекрасную ночь за все время знакомства. *Ты меня развратил,* шептала Мьяйле, не переставая кончать — по видимому, любовником Петя был много более завидным, чем мужем. *Знаешь,* говорил потом мне Петя, *у меня несколько раз было так, что самая последняя*

*ночь была самой лучшей.* Возможно, именно после таких ночей им овладевала та самая дон-жуанская жажда побега, *единственного подвига любви*, из смутного опасения, что *так* больше не будет. Ранней весной, уже будучи свободен, он повстречал Иру. Свою вторую жену.

### **ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ ПЕРЕМЕНИТЬ МЕСТО**

Я вспоминаю, как впервые появился Петя в нашей гниловатой комсомольской редакции. Журнальчик назывался *Студенческий следопыт*. Мы располагались в маленьком, уютном, но тесном особнячке в Спиридоньевском переулке. Существовала легенда, сам факт возникновения которой иллюстрирует тогдашний цинизм молодежи, прислуживающей партии, что до революции в этом доме обитала бандерша, хозяйка ближайшего публичного дома. Этого было не проверить, а вот то обстоятельство, что здесь располагалась комендатура охраны дворца, построенного в начале прошлого века в стиле модерн и принадлежавшем Берия, по ведомству которого расстреляли прежнего хозяина, и который (особняк, не Берия) до сих пор является украшением улицы имени *красного графа* Алексея Толстого, — фактический факт. Это был, скажем так, *режимный журнал*, — мы получали, к примеру, запрещенный в СССР *Playboy*, его подшивку держали в сейфе, который раз в неделю приезжал освидетельствовать на предмет сохранности человек из *конторы*. Парадоксально, но по тем временам журнальчик считался чуть ли не либе-

ральными, но все одно — полная загадка, отчего Петю с его подмоченной репутацией взяли к нам.

Загадка их тех, коими, однако, была полна причудливая и кишачая несуразностями тогдашняя советская жизнь. Принимала его на службу дама, исполнявшая обязанности заместителя главного редактора, лет пятидесяти пяти, то есть возраста уже пенсионного. Это была вдова одного забытого нынче писателя, в двадцатые годы прогремевшего романом, иллюстрировавшим выдвинутую кем-то из большевистских куртизанок, то ли Арманд, то ли Колонтай, *теорию стакана воды*. Эта самая дама, с моей точки зрения чуть помешанная, с удовольствием рассказывала желающим ее слушать, что в ЗАГСе поначалу их с мужем не хотели расписывать из-за разрыва в возрасте в сорок лет. Впрочем, ее супруг к тому времени уже умер, но успел оставить вдове кое-какие деньжата, потому что сочинял толстенные романы-биографии в серии ЖЗЛ, где она и была его редакторшей, о первых русских авиаторах. Так вот, мне кажется, эта полоумная старуха — такой она нам казалась в те времена — была в Петю натурально влюблена, я сам видел, как к его приходу она красила губы. И потом заманивала Петю в кабинет, угощала конфетами, просила прибить гвоздик для занавески.

Что ж, Петя выглядел в те годы не просто красавцем, но умопомрачительно — во всяком случае, на женский взгляд: редакционные дамы шептались у него за спиной, в лицо глупо хихикали, называли между собой заглазно *спермотозавром*. После памятного заключения в узилище Петя взял моду ходить бритым наголо, причем никогда не носил шапку, инстинктивно,

наверное, гордясь породистой формой своего черепа. Я хорошо помню то обстоятельство, что он ходил простоволосый, нет, в его случае — *простоголовый*, поскольку пришел он к нам в конце ноября, когда на улице уже подморозило. На ногах у него были те самые летные унты, в каких он уезжал *на север*, на плечах — кожаная шинель, всегда распахнутая, на шее яркий шарф. По нынешним временам подобная амуниция никого не удивила бы, разве что казалась бы нелепой и безвкусной, но тогда Петя являл собой зрелище экзотическое.

Мне Петя поначалу показался несносно высокомерным. Я сразу же испытал к нему, помню, чувство неприязни, которая была, как я теперь понимаю, острой завистью: как я сказал, женщины в нашей редакции, в основном бабы прожженные, за исключением одной романтической неюной секретарши, поменявшие по нескольку мужей, пьющие-курящие, к мужчинам относившиеся со скептическим пониманием, чуть не падали в обморок при виде свободного и всегда чуть насмешливого Пети. То есть они буквально выстроились в очередь, чего Петя как бы не замечал, чмокая каждую в щечку при встрече и рассыпая дежурные комплименты. И если б не его искреннее дружелюбие и щедрость, то все мужчины-коллеги в редакции были бы его врагами. Но Петя был обворожительно прост, временами даже как бы простоват, он отлично выучил эту свою роль простачка, которая и была его защитой. К тому же, начальство Петю баловало, наверное, этим бывшим комсомольским вожакам предпенсионного возраста льстило ему покровительствовать. А уж когда Петя как бы невз-

начай привел в редакцию свою красавицу литовско-грузинскую жену, то он окончательно вошел в моду и занял какое-то даже не особое, но исключительное положение, и при любой его выходке все только разводили руками, мол, *это же Петя*, мол, *чего же вы хотите*. Впрочем, Петя забыл сказать, что Майле уже тогда была его бывшей женой, после развода долго еще оставаясь его любовницей.

Мы сблизились отнюдь не сразу. Однажды на летучке он похвалил какую-то мою статью, и, вспоминая не без стыда, я залился румянцем от удовольствия. Он как-то сразу сумел так себя поставить, что к нему прислушивались. И, помнится, столкнувшись с ним в коридоре, я его поблагодарил. Он как-то очень сердечно откликнулся, сказал вскользь, что благодарить не за что, статья хороша, и тут же предложил выпить. Вот тогда мы и оказались впервые в баре Дома архитекторов. Я помню это первое наше с ним застолье. В тот раз он рассказал мне о происхождении шинели, которая сводила с ума наших переспелых редакционных дам. По его словам, он случайно увидел это кожаное изделие в комиссионке. И обратил внимание, что стоило необыкновенное пальто несусветно дешево, сто рублей. Оказалось, что к коже подшита натуральная шинель английского сукна, и пальто было поэтому страшно тяжелым. Петя в него влюбился. Он достал нужную сумму, вернулся, пальто ждало его. Он потом посоветовался со знающими людьми, и кто-то объяснил, что это — ленд-лиз, то есть пальто было старше самого Пети лет на двадцать пять, как минимум. Потом дополнительно выяснилось, что такие пальто входили в комплект то ли с

*виллисами, то ли с дугласами, и предназначались то ли шоферам, то ли летчикам. Но советские генералы, пользовавшиеся этими видами военного транспорта, у водителей их немедленно отнимали и присваивали. И, скорее всего, какая-нибудь дочка какого-нибудь покойного маршала и принесла это изделие в комиссионку. Понимаете, сказал Петя, с которым мы долгое время после знакомства, пока были коллегами, оставались на вы, это не просто сувенир, это пальто — свидетель истории.*

Если каждый Божий день пить вместе пиво с водкой, то поневоле сближаешься. Но на самом деле мы освоились друг с другом только после того, как Петя довольно неожиданно уволился из нашей редакции, проработав здесь больше пяти лет. За это время он как-то незаметно сменил двух жен и зажил холостяком. Потом, впрочем, я узнал тайну этого странного увольнения: как оказалось, он едва ли не случайно влез в какой-то не подцензурный альманах и, как он мне потом сам сказал, *не хотел подставлять главного редактора*, который действительно к нему по-доброму относился. И тут же привел еще один, так сказать запасной для самого себя, *мотив хочу спокойно посочинять*. И вот однажды, уже довольно давно не работая у нас, он позвонил мне и предложил составить ему компанию и поехать с ним в деревню. Я ничего не знал о его деревенской жизни, мне стало любопытно, я согласился.

Об этом самом озере Пете рассказали знакомые биологи. Они по студенчески, хоть все были уж кандидаты наук и женаты, *ходили* там на байдарках. Со всеми сопутствующими прелестями: холодными палатками,

сырыми спальными мешками, кашей из котелка, дымом костра, безухими студенческими гимнами и инсектами летающими и ползающими. Но Петя был уже взрослым мальчиком и выбрал другой путь. Как-то он сорвался с ними, доехал на поезде в плацкартном вагоне — других туда не подцепляли — до городишка Селижарово, стоящем на слиянии еще мелководной в тех местах Волги и так называемого Селижаровского плеса, вытекающего из Селигера. Но не поплыл по воде до конца биологического маршрута, а вылез на берег и пошел пешком. Набрел на деревеньку, сторговал за бесценок полуразрушенную избенку и вот теперь уговорил меня съездить взглянуть на это свое приобретение: для столь дальнего путешествия ему нужен был партнер и спутник.

В середине июня мы отправились на его *Жигулях* до Твери по неудобному и забитому Ленинградскому шоссе; свернули налево, миновали разрушенный и разоренный, будто подвергшийся бомбежке и нашествию мародеров, с сиротливыми старыми церквями Торжок; по приличной и почти пустой Осташковской дороге гнали еще сотню километров до грязного, ссыльного вида, поселения под названием Селище. Здесь в своих неказистых домах жил поселковый люд, а в обшарпанных коммунальных бараках — цыгане, подпольно торговавшие *паленой* водкой; на веранде столовой цементного завода давали вонючее кислое бочковое пиво — я смог осилить только треть кружки. От этого последнего форпоста цивилизации до деревни Колобово нужно было добираться сквозь мрачный, непролазный и болотистый, лес еще два десятка километров грунтовой раз-

долбанной дорогой с огромными рытвинами, полными талой воды. Это была настоящая глухомань, и можно было ожидать, что такая-то долгая дорога окупится какими-нибудь дивными прелестями: скажем, нам предстоит столкнуться с не утраченным еще дедовским народным укладом, бродить по волшебным чащам и любоваться северными видами, когда на восходе солнца серебрится и дышит туманом глубокая озерная вода.

Все оказалось куда прозаичнее, и нужно быть таким романтиком, как Петя Камнев, чтобы в этой глуши купить ободранную халупу и по-детски радоваться новому витку собственной жизни. К тому же, ровно в день нашего приезда похолодало, и пошел долгий нудный дождь, не кончавшийся почти все время нашего пребывания. Но Петю и это нимало не смущало. Здесь нужно сказать, что все бурные повороты в жизни Пети сопровождались еще и новыми увлечениями. Причем не только романтического, но и гуманитарного свойства. Так нынче, в деревенский, скажем так, период жизни, Петя впал в роман со вдовой лет на шесть его младше, но с пятилетней дочерью. В дополнение он вдруг решил, что свою прозу отодвинет на время, а займется сочинением произведений драматического свойства. Впрочем, зная Петю, я не удивился, что его неожиданное увлечение театром ознаменовалось вовсе не сочинением пьес, но изучением теории. И это при том, что театр Петя никогда не любил, был в нем *два с половиной раза*, как он выражался, а в последний свой визит в храм Мельпомены смог выдержать только первый акт и со второго, к ужасу и гневу его, теперь уже бывшей, жены, которая *доставала* билеты на эту премьеру, ушел в

буфет пить коньяк. Теперь, во время этого первого нашего визита в Колобово, у Пети в машине лежала книга Джавилегова, посвященная комедии дель арто. Больше того, Петя собирался, уединившись в деревне, сочинить большую статью о театре, потому что, как все журналисты, очень ценил старый рецепт: *если хочешь узнать предмет — напиши о нем.*

Деревня не обошлась без сюрприза. Непосредственно за домом Пети оказался выпас совхозного скота. В мае, когда осуществлялась покупка, это широкое поле было пусто, но сейчас туда запустили на летний откорм сотню молодых бычков, которые табуном разгуливали по двору и терлись боками о Петину избу, о Петину баню и о Петин сеновал. Так что пришлось начать с сооружения ограды. А заодно и уличного сортира, *нужного места*, как старомодно выражался Петя, — сортира при доме тоже не оказалось. Эти самые бычки были довольно симпатичными, хоть и туповатыми тварями, к тому же, что нас немало удивило, поголовно склонными к гомосексуализму. Причем из всего большого стада для удовлетворения этих наклонностей у них был выбран один хиловатой внешности бычок, ходивший с всегда окровавленным задом и пугливо жавшийся в сторонке, пока собратья щипали травку. И мы с Петей могли ежедневно наблюдать эту модель мужского сообщества, где самый слабый был *опущенным*, говоря по тюремному. И Петя, глядя на это племя молодое, глубокомысленно изрек, что, мол, всегда говорил: *педерастия — это вечное детство.*

К моему удивлению маленькая неказистая Петина избенка внутри оказалась удобной и даже по-своему

уютной. Правда, некогда в ней жили, наверное, гномы, потому что нам пришлось приучиться низко кланяться при входе, чтобы не получить притолокой в лоб. Петя догадался приколоть над дверью сигнальный лист белой бумаги: он вспомнил, что так в полевой жизни поступал громадный Александр III. В первый же день я был поражен Петиной домовитостью. В Москве перед отъездом я помогал ему грузить какие-то мешки, баулы и ящики, и когда они были распакованы, меня сразила Петина тщательность и предусмотрительная хозяйственность. Он привез не только нехитрую посуду, болотные охотничьи сапоги, мелкокалиберное ружье и рыболовные снасти — при том, что никогда не был ни рыболовом, ни охотником. Но и мотки проводов, керамзитовые изоляционные катушки, патроны для лампочек, розетки и сами лампочки, а также внушительный набор столярных инструментов. Даже свежий стульчак у него нашелся. Он изваял за стеной сеновала кривой верстак, кое-как укрепил над ним на двух столбах навес, видно собирався строгать и пилить и в ненастную погоду. Он начертил схему параллельного и последовательного соединения осветительных приборов и розеток, чем окончательно меня сразил. И я подумал, что просто-напросто у него никогда не было своего дома. Его однокомнатная квартирка у черта на рогах, в спальном районе, в счет не шла — там он как раз жил совершенно безалаберно, поскольку получил ее уже после развода: со второй женой Ирой они жили то на даче, то у нее, в огромной квартире ее отца, то снимали углы. Дачи его покойный отец не заводил: человек интеллектуальный, Виктор Львович терпеть не мог жить пошлой жизнью

дачника и огородника, не имея под рукой своих справочников и логарифмической линейки. Так вот, это новая квартирка, в которой Петя жил после развода с женой не могла, видно, удовлетворить его домовитости. В деревне же в ответ на мое восхищение он объяснил, что просто-напросто в нем дают о себе знать дворянские корни: в конце концов, русские баре со своими мужиками только что из одного котелка щи не хлебали и вместе с ними трудились на земле. *Как Николай Ростов, когда вышел в отставку*, пояснил Петя. Не знаю, не знаю, я парень городской. Во мне дворянской крови нет, я здешний интеллигент из разночинцев. Мне нужен запах перегретого асфальта и дурного московского бензина, чтобы я чувствовал себя в своей тарелке. А все эти *комары да мухи*, все эти ароматы деревни, присутствие настырных грязных телков и полное отсутствие комфорта никакого удовольствия мне не доставляли. И я только дивился на неприхотливость Пети в быту, ведь он был некогда избалованным мальчиком из приличной старой московской семьи. Впрочем, это, кажется, и означает быть джентльменом.

В течение первых пяти дней благодаря Петиней деятельности мы обзавелись нехитрого устройства деревенским хозяйством: Петя приладил умывальник в сенях, сколотил по всему периметру комнаты топчаны из поструганных им же досок, он провел свет и даже обтянул три окошка избенки марлей и повесил ситцевые занавески на резинках. В десятилитровом эмалированном ведре Петя *поставил* брагу с изюмом, а ведро устроил у стены печки-голландки, в теплом месте. У одной крестьянской семьи — местной знати, так сказать,

потому что жена была и звеньевой, и заведующей местным магазинчиком, а ее муж совхозным электриком, общественным инспектором рыбнадзора и главным браконьером, разумеется, а также бригадиром над этими самыми бычками — мы покупали молоко, яйца, творог, картошку, а иногда и свежую рыбу. А в ее магазине — водку, папиросы и макароны.

Не впервые я видел, как люди, никогда не работавшие руками, приобретя, скажем, дачу, становятся настоящими ударниками, да что там — маньяками всяческого благоустройства. Но, надо отдать должное Пете, ни с какими просьбами он ко мне не обращался, разве что *поддержать вот так* или *подстраховать*, когда он что-то там прибивал на потолке. Поэтому в первые дни я был за добытчика и повара. Но поскольку Петя колготился с раннего утра до глубоких сумерек, я не мог сидеть в стороне, сложа руки. Или в одиночестве гулять по окрестностям, к чему он меня призывал. Во дворе я наткнулся на обрезки бруса и, пользуясь Петиним верстаком, освоил рубанок и сколотил для него рабочее кресло, удивляясь тому, что оказался столь памятливым на стародавние школьные уроки столярного дела. Короче, мы более или менее обжились, но так ни разу и не вышли из дома, не считая походов в деревенское сельпо по единственной деревенской улице, залитой жидкой грязью.

Дело дошло до бани. Как и сама изба, Петина баня со стороны гляделась древней, вросшей в землю по кривое оконце развалиной. Очень неказистая на вид, внутри, однако, она выглядела прилично: в печь, топившуюся по черному, оказался вделан замечательный

чугунный котел — совершенно целый, был ровный пол из хорошо отструганных досок, бревна пригнаны без единой щелки, и хороший полоч. Но когда баня была отмыта, оказалось, что у нас нет веников, а париться без веников, сами понимаете, никак нельзя, тем более что и брага, призванная заменить нам отсутствующее в деревне пиво, уже подходила.

В сапогах и плащах, прихватив топорик, мы отправились в лес, который стоял прямо *за бычками*, как мы приладились выражаться. Петин плащ в отличие от моего утлого и городского, был рыбацкий, широкий и длинный, из тонкого брезента, его Петя ухватил в Селижарово, в магазинчике хозяйственных принадлежностей. Сейчас он прихватил даже корзинку на тот случай, если нам попадутся сморчки или строчки — последовательности и времени их произрастания ни один из нас не знал. Но, уже оказавшись в лесу, оба испытали неприятное чувство. И даже ко всему готовый Петя был, казалось, разочарован. Какие там грибы: я никогда не видел такого мертвого леса, хотя он отнюдь не состоял из одного бурелома. В нем была какая-то зловещая выморочность. Уже в двух шагах от опушки затхло пахло разложением, гнилым деревом и перепревшей листвой. Все пни были в плесени, на густо разросшихся папоротниках висели клоки паутины. Мы с трудом нашли пару молодых березок, но и на них листва была будто пожухлой. Впрочем, когда мы вернулись в деревню, наш пятидесятилетний сосед Витька с единственным зубом во рту, но зато стальным, живший бобылем в доме напротив и вечно попрошайничавший у сердобольного Пети, который говорил, что *главное в нашем пар-*

*тизанском деле — контакт с населением, и уже поджидавший нас на завалинке в видах опохмелиться, сказал:*

— Не, ребята, наши в тот лес не ходимши...

— А куда ж?

— Да вот по за речкою. Там добрый лес. Только туда лодка надобна — Бойню переплыть.

*По за речкою* означало, что *добрый лес* находится на другом берегу широкого озерного залива, к которому спускалась деревенская улица и который жители и называли Бойней — откуда пошло такое название никто сказать не мог. И Петя озарился идеей нанять у кого-нибудь из деревенских лодку.

Назавтра была суббота, назначенная Петей соответственно его представлениям о народной жизни, *банным днем* — наверное, в юности он начитался книжек вроде *Домашняя жизнь и нравы великорусского народа*. С утра вдруг впервые выглянуло слабое северное солнце, и день действительно показался праздничным. Мы натаскали из колодца воды и принялись топить баню. Поскольку дело это долгое, то мы стали дегустировать брагу, и Петя, никогда никакую брагу не делавший, нашел, что она еще *не совсем поспела*. Трудно сказать, как это ему пришло в голову, но, поскольку печь в доме мы затапливали только к вечеру, Петя решил, что хорошо бы выставить ведро на солнышко — греться до полного созревания. А самим тем временем отправиться в магазин. Потому что именно сегодня выпал единственный день на неделе, когда в магазин привозили хлеб.

Мы стали свидетелем своеобразного обряда. С утра все бабы деревни сходились на пяточке перед мага-

зином, как бывало, наверное, некогда по воскресеньям возле деревенской церкви перед дневной службой. Они негромко переговаривались, делясь телевизионными новостями и содержанием писем, полученных от детей, давно разлетевшихся по городам. Где-то к полудню прошел шепот, мол, *едет*. Марья, так звали продавщицу, с помощью мужа вынесла из магазина и расстелила на траве большой кусок брезента. И на этот брезент шофер хлебовозки, по фары перепачканной в грязи, под счет Марьи стал выгружать буханки серого хлеба. Когда с разгрузкой было закончено, продавщица подписала накладные, и шофер уехал. Началась торговля, более похожая на раздачу. Бабы по очереди подходили к продавщице, совали ей мятые денежки, которые та складывала в передний карман белого фартука, разворачивали глубокие мешки из рогожи, в какие собирают картошку, и каждой отпускалось ровно по двенадцать буханок. Конечно же, этот дурной серый хлеб не столько ели сами, сколько кормили им скотину. Мы с Петей оказались последними, и были основания волноваться, что нам не достанется ничего. Но Марья милостиво отпустила нам по буханке на нос.

Когда мы вернулись со своими буханками, вокруг нашего дома мы застали столпившихся и державшихся за бока всех, наверное, мужиков деревни. И среди них один Витек стоял со скорбной миной на лице. Явственно пахло дрожжами. Ограда, которую мы так старательно возводили, была проломана, а во дворе валялось перевернутое ведро из-под браги. Ясное дело, быков привлек запах нашего пойла, и они рванули выпить за наше здоровье.

— Пидарасы проклятые, — только и сказал Петя. Имея в виду бычков, конечно, а не потешающихся над нами мужиков.

Что ж, попарившись, нам пришлось напиться чаю с водкой, сидя перед открытым настезь окошком, в котором виднелся широкий луг с брошенным осевшим на бок сараем, а дальше темная полоса кустов, за которыми угадывалась вода. И над этой картиной понемногу наливался цвета красного чая закат. И Петя, чуть охмелевший, вдруг предложил: давай-ка завтра не работать, а отправимся на озеро. *О лодке я побеспокоюсь*, сказал он. И прибавил: *в конце концов, воскресенье — это наш православный шабат*. Знать бы мне, чем кончится эта экспедиция... Что ж, это был хороший вечер. Мягкая дремота охватила нас после ужина, но спать было жаль. И Петя впервые поведал мне историю своего развода со второй женой, всегда казавшегося мне очень неожиданным и странным. Потому что в свою бывшую жену, как рассказывала мне Лиза, Петя был истово, до бреда, до болезни влюблен, это даже со стороны, говорила она, было очень видно. Я позже приведу эту его историю, а пока, чтобы покончить с этим нашим путешествием, расскажу, чем дело кончилось — очень неожиданно и даже несколько обидно для меня.

На другой день, в понедельник, проснувшись с тяжестью в голове, что я приписал не столько последствиям потребления дрянной здешней водки, сколько похмелью от банного угара, я обнаружил, что Пети в доме нет. Не было его и во дворе. Я вскипятил чайник, сделал бутерброды, подождал еще, выпил пол рюмки, но Пети все не было. Наконец, слышались голоса под окном,

и я услышал разговор: Витька что-то говорил Пете на своем специальном деревенском языке. Речь шла, как я понял, о лодке, в которой не было уключин. И Петя просил Витьку плыть с нами, поскольку с веслами без уключин нам было никак не справиться. Витька соглашался, но интересовался, каким будет *магарыч*.

— Все будет, Виктор, — солидно обещал Петя.

— Так ведь когда? — спрашивал Витек.

— Как приплывем назад, так и будет, — говорил Петя.

— Не, — говорил Витек, — тогда я грести не исправный...

Он выпил стакан сивухи и, как всегда, отказался от закуски, занюхал горбушкой серого хлеба и рукавом своего бушлата. Мы наскоро позавтракали и втроем пошли на берег. Лодка, которую Петя нанял на неделю за полканистры бензина, представляла собой длинную и узкую досщатую плоскодонку, небрежно просмоленную. Уключинами служили вставленные в специальные отверстия отструганные колышки, а сами весла, выделанные из досок, были похожи на две плоские деревянные лопаты. Развеселое настроение охватило нашего гребца и проводника после стакана. На поверхности водоема наблюдалось известное волнение, плавающее же средство не оставляло впечатление надежности. Вместе все эти обстоятельства внушали немалые опасения. И лишь нежелание проявить малодушие заставило меня присоединиться к Пете, который уж бодро восседал на носу. Витек, засучив штаны, увязая в иле, долго выталкивал посудину на свободную воду, потом перешагнул через борт, оттолкнувшись другой ногой, пова-

лился внутрь лодки, и та скособочилась, но быстро выправилась, как неваляшка. Я с грустью вспомнил, что в погребе у нас припасен охлажденный литр тверского сорокоградусного напитка, что есть в доме и молодая картошечка, и укропчик, и постное масло. И можно было бы затопить печку. И включить транзистор с Би-Би-Си. И с тоской я поглядел на рябую и холодную водную гладь под опять посеревшим небом. Недобрые предчувствия охватили меня, и в первый раз за все путешествие я подумал, мол, кой черт заставил меня связаться с авантюристом Петей, который сам толком не знает, что он забыл в этой тверской глуши.

Я не разделял его эскапизма, мне не от чего было бежать. Я не разводился с женами, поскольку был холост. Я не встречал в сомнительные литературные истории, не печатал неосторожные рассказы за границей и в бомбисты не записывался. Я принимал мир таким, каков он есть, а к общественным передрягам относился как к погоде за окном. Свою журналистскую непыльную работу исполнял легко и с благодарностью за тот свободный образ жизни, какой она позволяла вести. Но Петю она буквально душила. Я не испытывал гнетущей интеллигентской тоски перед несовершенством сущего, а Петя бунтовал и препирался с начальством, которое, впрочем, ему все прощало. Видимо именно мой здравый смысл, и то, что в нашей дружбе я не настаивал на лидерстве, и отсутствие у меня творческих амбиций при таком же, как у самого Пети, темпераменте сангвиника, и привлекало его во мне. А сейчас Петя, сам того до конца не осознавая, пытался именно что скрыться от мира. Он и меня подбивал присмотреть здесь дом, что-

бы *основать колонию свободных людей*, но я отговаривался тем, что всегда ведь могу приехать к нему в гости, и Петя таял и радостно соглашался, мигом забывая о своих колонизаторских поползновениях...

Мы плыли медленно, но за четверть часа переправились-таки через залив. Пошли по берегу к устью, взобрались на бугор, на котором стояли с голыми стволами пахучие высокие сосны с половинными, как прически панков, гривами хвои наверху. И только тогда увидели, наконец, озеро. Прямо под нами медленно тонула длинная белая песчаная коса. Само озеро было далеко вытянуто, по сторонам не хватало глаз, а далеко впереди был виден противоположный берег, черный бор, широкая поляна, ярко освещенная лучами, прокравшимися в прореху облаков, а рядом низко жалась к земле игрушечная деревушка.

— Это ведь вон Польки, — сказал Витя, уже присевший на корточки у сосны, — любимая поза заключенных, Витя был года три на лесоповале *по хулиганке*, где и потерял зубы, — и смоливший папиросу.

Так было впервые произнесено роковое слово.

— Давай сплаваем, посмотрим, — предложил Петя. И тут же добавил: — Я сам погребу. — И он похлопал себя по глубокому карману рыбацкого брезентового плаща.

— Есть, что ли? — ощерил одинокий свой зуб Витя.

— На том берегу и выпьем, — сказал Петя.

Делать было нечего, мне оставалось присоединиться.

Когда мы *вышли из залива*, как выражался поморскому Петя, оказалось, что на озере дует сильный

боковой северо-восточный ветер. Поэтому, чтоб нас не сносило, грести приходилось под большим углом от направления на Польки. Гребли по очереди. Петя как-то приладился, а у меня не сразу вышло, и я чуть не уронил в воду весло. Занятие это было не из приятных, не в парке на прогулочной лодочке по пруду девочек катать. Неуклюжая наша ладья шла тяжело, весла приходилось крепко сжимать, и я понял, что неотвратно сотру ладони — так и было, на следующее утро и у Пети, и у меня руки покрылись волдырями. Оказалось к тому же, что у озера имелся невидимый фарватер, в котором было вполне ощутимое течение — слева направо.

— Ветер воду нагоняет, — задумчиво пояснил Витя.

Но кое-как перебрались. Правда, метрах в ста от берега оказалось так мелко, что нам пришлось оставить лодку и идти по воде, таща ее за собой. Но место и впрямь оказалось славное. Прелестный широкий пляж не тронутого белого песка, на котором живописно смотрелись засохшие коровьи лепехи. Здесь же в стороне лежали останки большой деревянной лодки. Справа и слева круто шли вверх поросшие ивняком и орешником косогоры, а прямо был огражденный широкий выгон, сейчас пустующий. Здесь все было не похоже на грязное и неуютное Колобово. Домишки деревни числом около десяти стояли в ряд, лицом к водному простору, за ними виднелись огороды с ровными рядками уже взошедшей картошки. Цвели полевые цветы, щелкали в зарослях птицы, стояла тишина, не омраченная ни собачьим лаем, ни детским писком, ни звуками механизмов. К тому же, как потом выяснилось, все полянки в двадцати шагах от домов, были усеяны спелой

земляником. Это был рай, и я тревогой заметил выражение блаженства на Петинем лице, с каким он, как зачарованный, опустился на теплый песок. Весь его вид как бы говорил: ну, вот, приехали, отсюда больше я никуда не тронусь. С ним рядом опустился и Витя, чутко хлюпая носом.

— Сейчас, — сказал Петя, — я сейчас. — И, видимо озаренный новой идеей, затрусил к двум избенкам, стоявшим справа отдельно от остальных и имевших не жилой вид.

— Я с тобой, — заявил я в надежде пресечь очередную Петину авантюру. Мы подошли к домам, один, побольше, стоял с заколоченными крест накрест окнами. В другом заметна была жизнь, ставни на окошках отворены, на плетне сушилась цветная тряпица. *Есть кто*, зычно провозгласил Петя, из дома показалась маленькая старушка, баба лет пятидесяти, как выяснилось при ближайшем рассмотрении. На голове у нее был повязан теплый платок, телогрейка подпоясана солдатским ремнем, на ногах галоши поверх шерстяных носков. По некоторой суетливости было заметно, что она отчего-то рада нашему появлению. Петя успел только поздороваться, как она уже по-свойски сообщила нам, что застали мы ее случайно, потому что они переехали в Вязовню, ее мужу, *военному инвалиду*, выделили, наконец машину с ручным управлением, а здесь ехать некуда, здесь кругом одна вода, а муж хоть инвалид, но мастер делать лодки и класть печи.

— Так это остров, — сказал Петя с оттенком опасного восторженного возбуждения.

— Можно и так сказать, — без охоты согласилась женщина. — А домишко мы продаем. Дешево.

— И сколько? — спросил Петя.

— Да семьсот, — сказала женщина.

— Это дорого, — вмешался я. — И вообще...

— Пятьсот, — сказал Петя, проявляя вдруг незнамо откуда взявшийся вкус к торговле.

— А хоть бы и пятьсот, — легко согласилась женщина. — Домишко-то еще справный. И огород сорок соток, и банька вот...

— У тебя есть с собой деньги? — спросил меня Петя.

— Это он шутит, — пояснил я женщине, обнадеженной нечаянной удачей. Потому что домик в деревне в пятистах без малого километрах от Москвы, к тому же наглухо окруженной болотами, в те годы продать нельзя было и за сто. — Мы в Колобово живем, мы приехали просто так, на экскурсию... Приплыли ...Узнаем места, знакомимся с окрестностями...

— Вот вам двести, это задаток, — сказал Петя. — Пишите расписку и как вас найти в Вязовне.

— Симоновы мы, — праздничным тоном сказала женщина, — а я сейчас, вот сейчас возьму, минуточку погодите... — И она юркнула в дом.

— Ты спятил? — поинтересовался я у Пети.

— Да нет, нет, — пробормотал он, цепко оглядывая домишко, уже примериваясь, видно, к реконструкции.

— Послушай, ты даже в дом не зашел.

— Тем интереснее.

Деньги были заплачены, получена расписка, нацарапанная на куске коричневой бумаги от пакета из-под крупы, а также адрес.

— У нас и машину есть где оставить, — сказала женщина по-родственному. — Вон она, Вязовня. Пяти километров не будет....

Я удивился, что, прощаясь, они не расцеловались.

На берегу Петя расстелил на песке свой замечательный плащ и открыл обещанную бутылку. *Обмыть покупку надо*, сказал он. Но я пить отказался. Я был оскорблен. Какого черта тогда он устроил всю эту историю с домом в Колобово, которого мне вдруг стало жаль, как родного гнезда.

— Старик, — сказал Петя, обтираясь ладонью после трех больших глотков и передавая бутылку алчущему Вите. И широко, не без похабства, ухмыльнулся: — Старик, смотри на вещи шире. Дом в Колобово я тебе дарю. И будем плавать друг к другу в гости.

— Пошел к черту, — сказал я. Что, в самом деле, я мог еще сказать.

## **ПИОНЕРКИ СВЕЖИ, НО НАДО ЗНАТЬ МЕРУ**

Теперь я приведу здесь ту историю, что поведал мне Петя, когда мы сидели после бани в деревне Колобово у открытого окна, запивая крепким индийским чаем *со слоном* холодную водку. Я перескажу ее своими словами, потому что Петя не был слишком трезв, говорил путано, то и дело отклоняясь от сюжета и горячась. А сюжет был в том, что в ранней его молодости один

литературный дружок втянул Петю в весьма гнусную историю, которая грозила закончиться плачевно.

Звали этого Петиного приятеля Игорь Муляев, так, кажется, я видел его однажды, много позже всех событий, в *пестром буфете* в Доме литераторов, куда Петя меня и затащил, я сам смолоду предпочитаю Домжур. Тип этот показался мне скользким мозгляком с неприятно приторной смазливой мордочкой и холуйской улыбкой, вместе заискивающей и наглой. К тому же у него был гнусавый голос и влажная рука. Всегда приветливый Петя был с ним прохладен, хотя тот, кажется, собирался пристроиться к нам за столик. Впрочем, если бы тогда я знал эту историю, в которой этот самый Муляев выступил как опасный и завистливый провокатор, то я бы удивился, что Петя вообще с ним здороваётся.

Кажется, этот тип был поэтом-графоманом. А может быть прозаиком. Так или иначе, его имя не вошло в анналы отечественной словесности. Мне кажется все-таки, что он сочинял какие-то вирши. Кажется так потому, быть может, что у него была жена-поэтесса, много более успешная, чем супруг. Она носила ту же фамилию Муляева, и запомнилась мне, потому что я много раз видел ее в кассе издательства, которому принадлежал мой журнальчик, где она получал за свои стишата гонорары. Это была яркая расхлябанная деваха с всегда распущенными пышными патлами цвета сурика, с огромным чувственным ртом и неправильным прикусом, передние зубы далеко выступали по нижним. Зная наши журнальные нравы, полагаю, что этот самый рот немало способствовал ее литературной карьере.

Муляев прославился в узких кругах тем, что был педофилом и однажды попал под суд, после того как заманил в подъезд двенадцатилетнюю девочку, обещая *заняться с ней анатомией*. Девочка рассказала об этих уроках маме, та, натурально, отправилась в милицию, и Муляева быстро нашли, поскольку он жил в том же доме. На суде он плакал и просил прощения у родителей девочки, а его жена выступала, так сказать, семейным адвокатом, поведав заседателем, какой добрый у нее муж. Пострадавшие тоже вняли, отозвали иск, но условный срок Муляев все-таки получил. Как и кличку Гумберт-Гумберт в своей компании. С таким послужным списком он каждое лето, однако, устраивался вожатым в пионерские лагеря, желательно в младшие отряды. И в девичьих палатах поздними летними вечерами рассказывал девочкам сказки, примостившись на кровати одной из них. В то роковое лето он, как обычно, трудился пастырем в пионерском лагере где-то под Вереей, и еще весной дал Пете адресок своего места служения и подробный план пути — он всем приятелям раздавал этот адресок, рассказывая, как возбуждают пионерки. И Петя взял. *Я сделал это автоматически*, говорил Петя, горячась, *сунул в карман и тут же забыл. Потому что вовсе не думал туда ехать*.

Разумеется, тогда ему было не до какого-то Муляева. Потому что Петя Камнев в то лето, как и все два предыдущих года, пребывал в состоянии небывалой и драматичной любви к генеральской дочери, покушавшейся сделаться художницей. Звали ее Ирина, и она в этой истории сыграла ключевую роль. Петя рассказал, как они познакомились, он помнил, разумеется, этот

вечер до мелочей. Был поздний март. По его словам в тот день он вернулся с деревенской свадьбы, где трое суток без просуха дегустировал крестьянский самогон. Разгульная свадьба и народные напитки привели его в состояние дрожания и восторга. Он, мальчик начитанный, имел книжное представление о народных свадебных обрядах, и был в совершенном восхищении, поскольку ему удалось присутствовать при них воочию. И даже, можно сказать, участвовать. В этом месте рассказа Петя сделал вираж далеко в сторону в попытке объяснить, каким манером он на этой самой свадьбе оказался, и это было бы досадным отклонением, когда б в этом отступлении не возникла, рифмуясь с основным повествованием, тема нравов лагерной пионерии.

У Пети по отцовской линии имелась в состоянии далекой и туманной родственности московская, по советской мерке даже не вполне захудалая, дворянская семья Свищевых, в которой было три сестры-погодки, каждая была старше младшей на год с небольшим. С ними Петя, хоть и был всех троих младше, дружил с детства, насколько можно в двенадцать лет мальчику дружить с уже созревающими девушками. Ну, не дружил, быть может, но встречался на семейных детских праздниках — в чудом выживших дворянских семьях тогда еще были живы традиции бал-маскарадов, домашних театров *китайских теней*, игр в шарады. Подомашнему звали их Ната, Шура и Тата. Ната, которая была старше Пети на три года, была с ним наиболее доверительна: она ему, двенадцатилетнему, рассказывала о своей трагически неразделенной любви к учителю фортепьяно в музыкальной школе. *Помню, я давал ей*

*сочувственные советы*, ухмыльнулся Петя и глотнул водки из своего стакана.

Как уже было сказано, у семейства Камневых в силу предубеждений его главы против гамаков и грядок, собственной дачи никогда не было. А у Свищевых была, давняя, ветхая, довоенная, с верандами, мезонинами, мансардами — в той же Валентиновке. Свищев-дед, которого Петя уже не застал ввиду неестественной убыли того в тридцать восьмом, будучи богатым инженером-энергетиком, другом Кржижановского, в тоске, быть может, по потерянной усадьбе, отгрохал эту дачу на без малого гектарном участке — прямо перед арестом. И, что удивительно, у его семейства дачу не отобрали, *не чисто работали*, заметил Петя, и дача перешла Свищеву-отцу. Туда-то Петин отец и сплавлял сына чуть не на все лето. Кстати, замечательно, что Лиза Камнева была в Валентиновке только однажды, в раннем детстве, потому что ко времени ее отрочества Свищев-старший умер, сестры повыходили замуж, и семья Свищевых распалась. Итак, Петя все каникулы проводил баловнем своих кузин, не слишком ценя их опеку, стрелял бузиной из трубок борщовника, стоил шалаши в ветвях деревьев, лазил с соседскими мальчишками по окрестным садам за яблоками. По вечерам все собирались на *большой* веранде, были еще и маленькие, под оранжевый с бахромой абажур, пили чай с клубничным вареньем, после чая играли в лото за большим круглым столом: Пете доверяли вынимать бочонки из холщевых мешочков и выкрикивать номера. И если младшая Ната держала себя с маленьким Петей, как нежная сестра, средняя Шура всерьез не принимала, то старшая Тата

все отчего-то над ним посмеивалась и трунила, даже щипала иногда. *Она была некрасива и простовата с юности*, так отозвался о ней Петя, *будто в этой семье родилась по ошибке*. Однажды, когда они с Татой отчего-то оказались на даче одни, собралась гроза, дождь потоками стекал с крыши, гремя в водостоках, и Тата забралась к Пете в постель, приговаривая, что замерзла, просила его погреть ей ноги. *Помнится, я страшно испугался тогда*, вспоминал Петя, *похоже, она меня, двенадцатилетнего, пыталась совратить*.

Эта самая Ната училась настолько скверно, что ее пришлось перевести в вечернюю школу. И, соответственно, в восемнадцать она отправилась работать на какой-то завод лаборанткой в цех контроля продукции — мыть пробирки, наверное. У завода, натурально, был свой летний пионерский лагерь для детей сотрудников — где-то под Хотьково, все по той же Ярославской дороге, но по другой ветке. И на лето заводскую молодежь, чтоб не нанимать персонал со стороны, направляли туда в качестве пионервожатых с сохранением оклада, но на казенный кошт. Так Ната стала пионерской вожатой. Однажды она взяла маленького Петю с дачи на экскурсию в свой лагерь — похвастаться маленьким кудрявым кузенком перед товарками. Но, когда вожатые после отбоя напились дешевого вина, она забыла братишку на поляне у костра, удалившись в лес с одним из собутыльников. *Я был рад, что горит костер*, припомнил Петя, *потому что боялся волков*.

У Таты не получалось не только с учебой, но и с замужеством, и она засиделась в девках чуть не до тридцати. Но ей повезло: ею заинтересовался сорокалет-

ний неженатый инженер на ее же заводе, где она уж сделала карьеру и стала техником. Этот самый соискатель был крестьянским парнем из Тульской губернии, самостоятельно выучившийся в заочном институте. Он был приземист, некрасив, очкаст, у него была одна особенность — его большая в пегом волосе голова была чуть сплющена с одной стороны. Он был тщеславен и хотел жениться непременно на москвичке с *площадью*, потому что при его-то годах жил холостяком в заводском семейном общежитии. А Тата мало того, что располагала в квартире родителей отдельной комнатой, но была к тому же из *интеллигентной семьи*. Свадьбу играли в его деревне, которая располагалась за Окой, недалеко от Поленова. Свищевых-родителей к тому времени не было в живых, средняя дочь Шура, по снобизму считавшая этот брак мезальянсом, да и без того Тату всегда сторонившаяся, на свадьбу ехать отказалась, поехали Петя и Ната, оказавшись единственными родственниками *со стороны невесты*. Зато со стороны жениха собралась вся немалая деревня, состоявшая, ясное дело, сплошь из родственников разной степени близости. Свадьба длилась три дня. *Знаешь*, говорил Петя, *такого разврата я не видел и в студенческих общежитиях*. По-видимому, в нем, не смотря на книжные сведения, были еще живы интеллигентские предрассудки относительно первозданной целомудренности простолюдинов. Но одно дело читать, другое — на три дня окунуться в атмосферу не цинизма даже, но самого естественного бесстыдства и блуда, когда наутро в избу новобрачных вваливалась толпа пьяных девок, у каждой из которых к причинному месту была приделана

здоровенная морковка на резинке. Это был как бы ре-  
визит для исполнения частушки:

*Доставай свою морковку,  
Пойдем на стыковку...*

Петя добавил: *это было самое приличное во всем репертуаре,— интересно, кто пишет нашим телевизионным исполнителям их так называемые народные песни...* Вот после этого вояжа вглубь народной жизни Петя, перед тем как ехать в редакцию, поздним утром и опохмелялся в кафе *Дружба* коктейлем *Белый медведь* — шампанское с водкой,— когда впервые увидел любовь своей жизни.

Потом Ира объясняла, что именно в то утро к ней в гости завалилась далекая подруга детства, и она, чтобы поскорее от гостьи избавиться, увела ее в это самое кафе, в котором, грязноватом и дешевом, она никогда до того не была,— заведение попросту было ближайшим к ее дому. И нетрезвый Петя, пораженный прелестью Иры, которая сидела за соседним столиком, подкатился к ней, хотя никогда не знакомился с дамами в публичных местах, и нагло попросил телефон. Ира записала номер, как потом она говорила, чтобы *поставить подругу на место*: она своего телефона незнакомым мужчинам, разумеется, тоже никогда не давала. Иначе говоря, как это и бывает в тех случаях, когда случается что-то необычное, открытие или катастрофа, нежданно сошлись несколько невзаимосвязанных факторов: многодневное деревенское пьянство Пети, которому в это утро следовало сидеть за своим столом в редакции, и случайный визит к Ире навязчивой подруги, которая пела ей о том, как она устала от ухаживаний *мужиков*.

Здесь-то Ира и не удержалась, не лишенная, разумеется, женского тщеславия, продемонстрировать, кто на самом деле из них двоих пользуется у мужчин успехом — ведь Петя подошел не к подруге, которую, казалось, и не заметил, а именно к ней.

Легкомысленный Петя сунул салфетку, на которой был написан номер, в карман и тут же об этом забыл. Ведь он был в состоянии похмельной эйфории, море по колено, и действовал по наитию. Потом, обнаружив этот клочок в кармане и смутно помня, кому принадлежит записанный на нем номер, из любопытства набрал его. Голос Иры показался ему довольно суровым, и со свойственной мужчинам ленью он сообразил, что в данном случае, по-видимому, предстоит долгое ухаживание, и сказал, что перезвонит позже. И опять об этом забыл. Но через неделю опять наткнулся на этот телефон и опять набрал номер. И услышал поразивший его точностью постановки вопроса ответ: *вы что-то конкретное хотите предложить, если нет, то больше не звоните*. Так женщины никогда с ним не разговаривали, и заинтригованный Петя тут же назначил Ире свидание, благо жили они неподалеку: он на Ломоносовском, она на Мосфильмовской. *Она отдалась мне в тот же вечер в подъезде*, рассказывал Петя застенчиво. Позже она объяснила ему, что просто-напросто два года назад развелась с мужем, и все это время у нее никого не было. Но так не могло и не должно было продолжаться вечно, а Петя ей понравился. Через два месяца Петя женился на Ире. Причем папа-генерал был дочерью поставлен перед фактом: он никогда не согласился бы на такой мезальянс — Петин отец, университетский про-

фессор, с тех служебных высот, что занимал новый Петин тесть, казался, безусловно, букашкой...

В этом счастливом месте повествования мы с аппетитом выпили, но я стал подозревать, что Петя потерял нить, и до пионерского лагеря мы так и не доберемся. Потому что он пустился в воспоминания о своем счастливом браке, впрочем,, как потом выяснилось, косвенно эти подробности проливали на пионерскую историю некоторый дополнительный свет.

В общих словах дело обстоял так. Отец Ирины занимал очень высокий пост в Генеральном штабе, причем не где-нибудь, а в ГРУ, в военной разведке. Это был красивый волжский крестьянский парень,— в зрелые годы у него была кинематографическая внешность Джеймса Бонда, — необыкновенно одаренный от природы. Он закончил Институт военного перевода — по сути, высшую разведывательную школу, потом Академию Генштаба. Он бегло говорил на всех европейских языках, кроме албанского, быть может, хотя специализировался на арабских странах — по-арабски он говорил с легким британским акцентом. Ко времени появления Пети в этой семье, он уже побывал резидентом в Риме и в Париже, называясь вторым советником посольства. За границей он жил с семьей, женой и двумя дочерьми. Ира рассказывала, что в Италии он, тогда еще подполковник, иногда приходил домой ночью в кровоподтеках и в разорванном испачканном костюме. И лишь когда его имя попало в специальный справочник ЦРУ, посвященный советской разведке, он был отозван в Москву с повышением и получил свою первую генеральскую звезду.

Генерал был аскет, спал на раскладной походной кровати; он отказался от шикарной служебной дачи с зеркалами в ванной в пользу скромного служебного же загородного домика в военном городке в Кратово, который нужно было топить дровами — армейских генералов, коллег по Генштабу, недолюбливал и жить с ними по соседству на даче не хотел. Проезжая на своей белой *Волге* мимо постов ГАИ, он всегда сбрасывал скорость, объяснил как-то Пете, который полагал, что при положении тестя тот мог бы ехать с любой скоростью, *они на службе, нужно проявлять уважение*. Однако подчас генерал давал себе послабления. Поскольку с женой-генеральшей у него были самые номинальные отношения, то каждую пятницу вечером он переодевался в дорогой английский костюм, облачался в пальто с бобровым воротником, коли дело бывало зимой, и убывал до вечера субботы — к любовнице. Иногда он звонил с работы днем в середине недели и предупреждал, что его три дня не будет. Это означало, что он отправился со служебной проверкой своей резидентуры куда-то на Ближний Восток, в Ливан или в Сирию. Когда он возвращался на *Чайке* с водителем, встречавшим его в аэропорту, то ординарец нес из машины ящики виски, блоки сигарет и пакеты с кофе, запах которого мгновенно заволакивал большую генеральскую квартиру — это были подношения проверявшихся подчиненных, надо полагать.

Общался Петя с ним не часто. Впервые они познакомились при весьма огорчительных для Пети обстоятельствах. Поскольку в первую же неделю своей любви он совершенно потерял голову, то встречался с Ирой

ежедневно — благо, та не была ничем занята. Шла весна, прошел апрель, наступил май, и подъездам молодые любовники стали предпочитать укромные места на свежем воздухе. *Мы никак не могли расстаться, нас то и дело швыряло друг к другу*, так описывал Петя их тогдашние отношения. Однажды они сидели на лавочке у ее дома, беспрестанно целуясь, безрезультатно пытались проститься и разъять руки, потому что уже светало. И, после многих соединений, решили соединиться в последний раз. Самым подходящим местом им показалась уютная лесенка, ведущая в подвал дома в служебные помещения...

На другой день утром — дело было в субботу — Ира позвонила Пете и сказала, что сегодня вечером *папа хочет тебя видеть*. Этот вызов не предвещал ничего хорошего, предстоял, по-видимому, *мужской разговор*. Однако генерал любезно принял Петю, пригласил на широкую лоджию, где стоял столик и кресла, поставил между ними бутылку виски. Они допили бутылку до середины, сидя вдвоем в полном молчании. Наконец, генерал произнес единственную фразу: *я попросил бы тебя вести себя сдержаннее*. Потом выяснилось, что генеральша, озабоченная тем, что дочери нет до четырех утра, отправила мужа на поиски, и, скорее всего, он мог наблюдать собачью свадьбу дочери на подвальных ступеньках во всей красе. *Даже сейчас ужасно стыдно вспоминать*, поежился Петя и посмотрел на звезды, низко светившие на темную деревню. *Мне очень нравился Ирин отец*, добавил он, *к тому ж у нас было нечто общее — мы оба ненавидели КГБ*.

— Они только мешают работать, — брезгливо сказал как-то генерал, наверное, натерпевшийся от этой службы за границей, когда ее представители лишь путались под ногами. *И я с ним был совершенно согласен, ухмыльнулся Петя.* Но тут же вновь нахмурился, выпил и продолжил рассказ.

Он в подробностях рассказал об Ириной беременности, обнаружившейся сразу после их партизанской свадьбы. И как он плакал от сострадания, когда она отправилась в абортарий: о детях можно было думать только после того, как она поступит в Полиграфический. Кажется, здесь Петя несколько лукавил, он не то чтобы настаивал на аборте, но уж во всяком случае против этого решения жены не протестовал. И она не могла не чувствовать его, скажем, холодность, когда ему было объявлено, что у них будет ребенок. Ну, быть может, в откровенную панику он не впадал, но встретил сообщение кисло. Гордой Ире этого было достаточно, чтобы от ребенка отказаться, оставив по своему благородству дело так, что решение принадлежит ей самой. Сняв грех с его души, так сказать. Впрочем, после истории с Альбиной Посторонних отношение Пети к деторождению было вполне определенным, о чем я уж говорил. При случае Петя цитировал Агафью Тихоновну: *мальчишки народ драчливый, а там потом и девчонки пойдут.*

На лето Петя снял дачу в Полушкино, по Белорусской дороге — под медовый месяц, скажем так. Но, увы, молодая жена не баловала его своим присутствием. И к тому же оказалась в быту строптивой и довольно привередливой. Она наотрез отказалась готовить ему завтраки, полагая, что с этим он может справиться и

сам. *В то лето*, вспоминал Петя, *было очень много комаров, то есть, как нарочно*. Ночью было невозможно заснуть. Ира сидела на постели, прислонившись спиной к стене и молча курила сигареты — одна за одной. Но густой табачный дым не производил на комаров должного впечатления. На трети день Ира сказала:

Мне нужно готовиться к экзаменам, и завтра я поеду в мастерскую *друзей* писать натюрморты.

— Когда ты вернешься?

— Не знаю. Через два дня, наверное.

Петя не верил в ее художнические таланты. Более того, он сомневался, что она сможет сдать обычные общеобразовательные экзамены: ведь пока ее возили по заграницам, она не училась и наверняка забыла то, что ей преподавали в школах при посольствах. Но когда она говорила о поступлении в Полиграфический, губы у нее сжимались, и становилось заметно, как похожа она на своего отца. При желании, ее упрямство можно было называть *силой характера*. Как-то, вспоминал Петя, она познакомила его с благоприобретенной подругой, которая работала на *Союзмультфильме* — туда Ира решила поступить на работу, ведь учиться она будет заочно. И как-то оказалось, что совершенно необходимо поздравить эту самую подругу с днем рождения, протелеграфировав. Денег у них было мало, но телеграмма в Ирином исполнении содержала полсотни слов, причем со строгим сохранением синтаксиса. На все уговоры Пети сделать сокращения Ира отвечала возмущенным отказом. Телеграмма была отправлена, и они остались без денег. С этой подругой, простецкой девкой, откровенно Ире завидовавшей и строившей Пете куры, Ира

рассталась уже через пару недель. Подобное упрямство она проявила и теперь. *Я был молод, женат всего во второй раз, я не умел ничего противопоставить ее избалованности, хоть и был нетерпелив и не слишком терпим*, говорил Петя. Он забыл прибавить, что чувствовал вину за тот аборт, не то чтобы повседневно мучился, но — каялся время от времени.

Ира уехала с дачи, не оставив даже телефона *друзей*. Петя мучился и ревновал, и уже к вечеру первого дня стал сходить с ума. *Я был болен*, говорил он, *совсем болен*. И тут же саркастически процитировал:

*Машенька, я никогда не думал,  
Что можно так любить и грустить!*

Первые два дня Петя ходил встречать каждую электричку, но поскольку электрички сюда, за восемьдесят километров от столицы, прибывали довольно редко, Петя в перерывах успевал добежать до единственного в округе телефона-автомата и позвонить Ире домой. Ее не было, о чем его и извещала теща. Когда он позвонил в пятый раз, то Ирина мать, Петю откровенно недолголюбившая, сказала не без издевки:

— Что ж это вы не знаете, Петр, где находится ваша жена.

*После этого я совсем потерял голову*, не без драматизма пробормотал Петя, вспоминая те дни. По его словам выходило, что, продолжая бегать от станции к телефонной будке в санаторий и обратно, по пути он всякий раз покупал в дачном магазинчике дешевого вина. Потом валялся на убитой рыжей траве под насыпью, то и дело прикладывался к горлышку бутылки, вскакивая при звуках любого приближающегося поезда, хотя

уже знал расписание наизусть, и с тоской вглядывался в проходившие мимо товарные и скорые пассажирские поезда. Он не мог ничего есть. *У меня началась медвежья болезнь*, вспомнил он, *как случается со страху*. Он перестал ходить на дачу, где на веранде стоял Ирин этюдник, а в комнате там и сям попадались ее вещи, как бы переселившись на станцию. На третий день он стал бегать вдоль вагонов, когда электричка все-таки приходила, заглядывая в них, вдохновленный безумной мыслью, что Ира здесь, но просто-напросто задумалась и может пропустить их станцию. Но Иры не было. Он уже так устал от своей одинокой муки, что хотел бы хоть как-то заглушить свое страдание, поскольку вино не помогало, он даже не хмелел, только бегал в кустики и подтирался листьями орешника. Ему необходимо было спастись от самого себя, от своего любовного наваждения, и Петя смотрел с тоскою на проходящие поезда, особенно на один, с занавесками с синими якорями, на боках которого значилось *Москва-Калининград*. В нем росла жажда побега. И в какой-то момент, сам не зная как, он оказался в вагоне электрички, идущей в Можайск. И здесь опять сыграла роль роковая случайность: на нем были те же джинсы, в которых он весной приходил в ЦДЛ. И он обнаружил в заднем кармане, *на жоле*, зачем-то пояснил Петя в видах, должно быть, снижения патетики своего рассказа, адрес, который нацарапал на бумажке Муляев. Когда по радио объявили, что следующая станция Верея, Петя обрадовался, потому что ему невмочь было и дальше в одиночку нести тяжелое бремя своей любви, которая поначалу так нежно изум-

ляла его самого, но которая обернулась таким невыносимым страданием...

Муляев оказался способным картографом, и уже через десять минут Петя разыскал и сам лагерь, и самого размякшего на солнышке Муляева, сидевшего в шезлонге на веранде в белой рубашке навыпуск, в пионерском галстуке на смуглой тонкой шее, в венке из васильков, в окружении своих воспитанниц. Завидев Петю, Муляев поднялся, широко раскинул руки и полез целоваться, пионерки потеснились, со стыдливым любопытством разглядывая гостя. Радость Муляева была явно фальшива, быть может, он заподозрил в Пете конкурента по части охмурения своих тринадцатилетних пионеров: все-таки рядом с тщедушным Муляевым Петя гляделся настоящим красавцем, плюгавость первого явно контрастировала с Петинной внешней мужественностью. Петя попал в лагерь перед ужином, и Муляев накормил его в столовой, за длинным столом для пионервожатых макаронами по-флотски и компотом. Причем Петя, как ни странно, съел две порции пресных макарон с аппетитом — видно, для трапезы ему нужна была компания. Петя никого вокруг не замечал, но после ужина Муляев, увлекши гостя в свою комнатку приздании его отряда, куда вел отдельный вход с веранды, и наливая обоим водки, понизив голос, спросил, заметил ли Петя *Алю, Альбину Иванову, ей уже пятнадцать, какая из нее пионерка, мы сделали ее помощницей вожатого, то есть моей помощницей, она же уже совсем взрослая, и какая сладкая.* Петя, конечно, никого не заметил. *А она тебя даже очень,* сказал Му-

ляев и подмигнул заговорщицки, *сосет как заведенная, уж мне поверь.*

Водка Муляева хорошо легла на многодневное употребление Петей дрянного крепленого вина, и он быстро опьянел. Тем не менее, побывал на танцах, где Альбина — это имя рифмовалось в Петинем сознании с самыми скверными воспоминаниями — пригласила его на *белый* танец. Дальше Петя ничего не помнил до того самого момента, как был спросонья ослеплен лучом переносного фонаря. И понял, что лежит в чьей-то постели, рядом — дама, которая, кажется, рыдала. К тому же у него были приспущены штаны. То есть, некий патруль, обходивший лагерные пределы в заботе о нравственности народонаселения на подведомственной территории, засек Петю за попыткой изнасилования несовершеннолетней пионерки. Тут же был составлен акт, подписанный всеми свидетелями..

Петя не стал возвращаться на дачу, но поехал сразу в Москву. Ему уже намекнули, что, если он не хочет сесть в тюрьму, то должен заплатить весьма внушительную сумму — приблизительно, двухгодовой свой заработок. Забавно, что к делу уже была подключена мать потерпевшей. То есть заранее оповещена. Петя запомнил, что когда его на рассвете отпустили, его милашка красилась перед зеркалом, стирая следы слез. Обалдевший Петя, продираясь сквозь строй обступивших его дружинников, краем глаза увидел в темноте ухмыляющуюся рожу Муляева. Он-то, конечно, все и подстроил, не одному ж ему ходить под суд *за малолеток*. Он вспоминал: больше всего его поразило, что едва он переступил порог родительского дома, как раз-

дался телефонный звонок. Звонила пропавшая Ира, которая первым делом спросила у *тебя все в порядке?* Тут Петя, которому хотелось плакать все последние дни, не выдержал и разрыдался.

Когда Ира приехала, он все ей рассказал. Все, что помнил. *Жди меня здесь*, сказала она и, захватив пресловутую бумажку с адресом, которая так и осталась в Петинем кармане, исчезла. Появилась она под вечер. И дала Пете, который, конечно, уже опохмелился и похорошел, какую-то бумажку, страничку из ученической тетрадки. На ней было начертано школьными безграмотными каракулями своего рода отречение от каких-либо притязаний Альбины Ивановой к Петру Каменеву...

На пороге ЗАГСа, куда Петя повел Ирину разводиться, она расплакалась. *Не поверишь, я впервые видел ее слезы*, сказал Петя.

— Как же ты мог расстаться с такой женщиной. Она же тебя любила! — воскликнул я.

— Очень стыдно было, — ответил Петя.

В то лето Ира в институт действительно поступила. Но художницей она так и не стала. Много позже в Петинем архиве нашлись и ее письма. Точнее, два письма. Петя, кажется, ненадолго уезжал в Грузию, потому что одно письмо было адресовано на Пицунду, другое в Тбилиси. И в каждом было написано ровно то же, что в другом: *Люблю! Люблю. Люблю. Очень жду. Приезжай скорее, Петенька! Целую мои любимые глаза, губы, руки... Твоя Ириша. Люблю.*

## ЖИТЬ НА ЭТАЖЕ ТОЖЕ НАДО УМЕТЬ

И Петя, дважды *изведав супружеских перин*, в свои без малого тридцать оказался один в неуютной однокомнатной квартире, за которую первый взнос заплатил его отец — Лиза выросла и успела повзрослеть, в доме Камневых стало тесно. Оказался на краю Москвы, в спальном, *депрессивном*, как стали говорить много позже, районе, какие всегда наводили на него тоску. К тому же без денег: из журнала он ушел, перебивался случайными статейками и внутренними рецензиями — эту работку ему подкидывали знакомые сердобольные редакторши. И, кажется, перевел как-то с подстрочника какой-то таджикский, что ли, роман, с которым ввиду крайней туманности текста вышел конфуз. Герой романа на протяжении всего действия ухаживал за некоей одинокой дамой. Роман был толстый, и Петя, видно страшно утомившись, перевел, что в финале дама герою отдалась; вышел скандал, оказалось, весь смысл произведения и состоял в том, что все остались при своих, а героиня — высокоморальной, — цивилизационное непопадание.

Из мебели, помнится, были у Пети одноместная тахта, на которой он в родительском доме спал еще в юности, журнальный столик, на нем посреди комнаты, под висевшей на витом шнуре лампой — пишущая машинка, буфет, служивший одновременно шкафом посудным и книжным; шкаф бельевой, карельской березы, с короной наверху, *усадебный*, говорил Петя, вывезенный им из убогой коммуналки, в которой несколько лет назад умерла древняя тетка Камнева-старшего по

матери; разошедшийся комод, крашенный черной краской, купленный за тридцать рублей на квартирном аукционе по случаю отбытия одного подпольного поэта к жене в Канаду, найденный тем в свою очередь на барахолке на Преображенке; на стене — какая-то шизофреническая авангардная, красная с желтым, мазня на холсте, которую Петя почитал *гениальным маслом*. На кухне, довольно вместительной, — электроплита, еще одна тахта, большой круглый обеденный стол, при раздвижении превращавшийся в овальный, и угловая тумба с вращающимися внутри полками для кастрюль, поверхность которой одновременно служила столом кухонным. Был холодильник *Саратов*, приобретенный по случаю в комиссионном мебельном магазине в Медведково, из тех, что наши граждане называют *на дачу*. Была к тому же просторная грязная лоджия, на которой копились пустые бутылки и стояла под дождем подаренная кем-то сломанная стиральная машина *Вятка*. Отсюда был серый вид на бесконечные ряды грязных панельных бетонных домов, лишь в одном прогале высовывался свежий лесок за кольцевой автомобильной дорогой. И, тем не менее, Петя был, кажется, доволен, поскольку, не говоря о домовладении в деревне Колобово, обрел, наконец, собственное жилье, в котором, как ему казалось, делать мог все, что заблагорассудится. Иначе говоря, Петя с некоторым запозданием окунулся в жизнь безответственную, одинокую и холостяцкую, почти студенческую, если говорить о скудости быта, от каковой к его тогдашним летам многие как раз уже устают.

Но Петя, кажется, был полон упований. Как он выражался, театрально кладя руку на сердце, *так и при-*

*стало неоцененному таланту допивать кубок жизни.* Петя объехал половину необъятной советской империи, был на Севере и в Средней Азии, наблюдал северное сияние и задыхался в песчаных бурях, плавал по морям и озерам, у него в женах побывали две очень красивые женщины, которые его любили, он издал тощую книжечку незрелых рассказов. Однако, остался нищ, одинок, больше почти не писал. Однако, тогда бедность была не пороком, но считалась скорее знаком отличия. Конечно, можно сказать, что итоги его жизни при приближении к возрасту Христа были не слишком утешительны. Но, как ни странно, у него было полно знакомых, многие хотели с ним дружить, он бывал приглашаем в *дома*, куда мне, скажем, доступа не было, и, казалось, все от него чего-то ждут, каких-то ярких свершений, неизвестно почему. Может быть, потому, что он оставался красив, но скорее оттого, что в нем была какая-то нездешняя энергия, порыв и полет, свобода, наконец, он уверенно стремился в какое-то неведомое будущее, и, конечно, его обожали женщины. Я в это время часто бывал у него. Иногда оказывался приглашаем на людные вечеринки, но в компаниях он меня почти не замечал. Однако подчас мы оставались вдвоем, и в нем просыпалась обычная между нами доверительность. Разве что нас прерывал визит какой-нибудь Петинной соседки, приходивших всегда без звонка, за просто.

Здесь, пользуясь случаем, можно рассказать о соседях Пети. Поскольку Петин кооперативный дом был только что возведен и сдан, то жили в нем люди относительно молодые, как правило, супружеские пары од-

ной и той же модели: разведенные мужья с очередными женами. Напротив Пети, дверь в дверь, в двухкомнатной квартире жила семья летчика гражданской авиации. Глава семейства был разухабистый мужичок лет под сорок, алиментщик, при встрече с Петей он игриво подмигивал и говаривал, что на работу идет как на праздник, потому у него на борту та-акие сладкие девчонки-стюардессы, пальчики оближешь. И Петя, который терпеть не мог скабрзностей и доверительных банных мужских разговоров на половую тему, лишь вежливо кивал, но морщился, вспоминая древний анекдот про *мама, мама, что за рыба стюардесса*. В женах у этого соседа состояла деваха лет двадцати пяти, крупного сложения, кровь с молоком, с большими сильными ногами и руками, с красивой простецкой рожей ткачихи, с пшеничными сильными волосами, и, по видимому, очень глупая. Она не служила, но *сидела* дома с мальчиком лет пяти, при том, что дома всегда присутствовала и ее свекровь-пензионерка, которая, так сказать, сидела с молодой женой сына.

Прямо под Петей жила одинокая бездетная вдова, как и сосед — лет тридцати восьми. Это была трагически настроенная женщина, работавшая бухгалтером, которая время от времени, когда наверху проходили особенно веселые шумные вечеринки, вызывала к Пете наряд милиции. Петя не сердился, в доме была известна ее история: муж разбился на машине как раз перед тем, как им предстояло заселиться в эту новую квартиру. Однажды развеселый Петя поднимался вместе с ней в лифте и шутливо укорил за то, что она все время беспокоит милиционеров; она посмотрела на него скорб-

но, и Петя предложил не грустить и расцеловал соседку; та вдруг неожиданно залилась слезами, *вы не умеете жить на этаже*, тут-то и пробормотала она сквозь всхлипы, и Петя взял это выражение на вооружение.

Пятью этажами ниже, на восьмом, тоже прямо под Петей, жила совершенно сказочная пара: разъездной фотограф-еврей, имевший пояс по карате, носивший редкую фамилию Гадин и предлагавший ставить ударение на второй слог его прозвания. Он жил с веселой молодой женой, пятой по счету, тоже по нечастому теперь имени Варвара, коронным каламбуром которой было, мол, странно, что ей достался муж с такой фамилией, ведь она вовсе *не такая гадина*. Наконец, напротив них, на той же площадке, ровно под квартирой летуна, жило другое семейство, глава которого, искусствовед Иезекииль, Изя в быту, имел уже совершенно невероятную фамилию, приводившую Петю в восторг: Кобелевкер. Петя, хохоча, говаривал, что *всегда знал, где-то на свете живет человек с такой фамилией*. Но и этого мало: мадам Кобелевкер по имени, не поверите, Далила, была его второй женой, но отнюдь не еврейкой, а айсоркой, отец которой был не чистильщиком сапог, но составителем первого в мире — и, наверное, последнего — русско-айсорского словаря. Оба были Петиного возраста. Была еще одна пара: маленькая пугливая, как трясогузка, женщина с мужем, который в своей квартире воспроизводил опыты Термена и даже на улице по привычке делал перед собой пассы руками. Была другая, с фигурой гимнастки, которая как-то напугала Петю тем, что выдвинула предположение, будто тот намеревается *увести ее от мужа*. Наконец, была

заведующая овощным отделом продуктового магазина, которая все носила Пете фрукты и овощи, но потом вдруг вышла замуж за неаполитанца, который работал вышибалой в борделе в Западном Берлине. И Петя долго еще обнаруживал в своем почтовом ящике открытки с рейнскими видами. *Торговала овощами, а оказалось — Лорелея*, констатировал Петя.

Собственно, дружил Петя преимущественно с восьмым этажом, так сложилось: еще при переезде Гадин пришел в нему — ни у кого еще и дверных звонков не было, — и попросил одолжить дрель. А поскольку дрели у Пети не оказалось, то Гадин предложил тут же срочно выпить за новоселье, а заодно познакомиться с его *варваркой*-женой: Петя не сразу разобрался что к чему, не знал еще о каламбурных наклонностях этого семейства. Но сразу с первого взгляда угадал, что Гадин — мужчина фанфаронистый, характера демонстративного, молодой женой гордится и пыжится — ему было около пятидесяти. К тому же имя у него забавно контрастировало с фамилией — Рафаэль, Раф для своих.

Варвара Гадина Пете несказанно нравилась. Не в том смысле, что он бросился за ней ухаживать, но, что называется, *по-человечески*. Это была экзотическая особа неотразимой простонародно-южной красоты, с узкой талией, широкими бедрами, пышным задом, черная бровь дугой, темная коса до жопы. Петя часто пил у нее кофе с коньяком, слушая ее рассказы, смахивающие на народные волшебные сказки. По ее словам, родилась она на казачьем хуторе в степи, где-то под Ростовым, что ли. С детства пасла гусей. Иногда мать посылала ее к поездам, что останавливались на минуту на не-

далеком полустанке, торговать свернутыми из газеты кулечками вишни или смородины.

— Вот насмотревшись на пассажиров, которые ехали на море в панамах, я и решила, что убегу,— вспоминала Варя, искрясь своей невероятной улыбкой, показывая замечательные белые зубы, играя блестящими карими глазами. *Степная Кармен*, называл ее Петя. В семнадцать она действительно убежала из дома, оказалась отчего-то в Волгограде, устроилась на стройку по лимиту. — В городе тогда был один-единственный иностранец, да и тот чех, с ним-то я и стала жить,— говорила Варя, похохатывая.

— Где ж ты его взяла?

— Да девчонки показали...

Но у чеха вышел срок командировки и он отъехал в Прагу к жене и детям.

— В Волгограде мне нельзя было оставаться, — говорила Варя, играя глазами, показывая ямочку на левой румяной щеке, — на меня уж пальцами на улицах показывали. — И она отбыла в столицу, где устроилась по лимиту на мебельную фабрику. Ну, на фабрике она была только один раз, когда писала заявление в отделе кадров, а потом отдавала сменщицам, которые отработывали за нее, полную свою зарплату.

— А сама на что жила?

— Так я же вечерами в *Метрополе* сидела. Там меня Раф и нашел, отбил у одного итальянца.

— А отчего именно в Метрополе?

— Так я же других ресторанов в Москве тогда не знала, — рассмеялась Варя.

Она часто повторяла: нет, я *на ваших выселках жить не буду*, и на троллейбусе не буду ездить, только на машине с шофером, и квартира у меня будет на Арбате, мне там нравится, вот увидите, *или там, где этот на коне, Долгорукий, что ли...* Забегая вперед, скажу, что Варвара Гадина, выйдя следующим браком за внука одного из столпов советского государства и поменяв фамилию на очень у нас в стране звучную, купила таки своей дочери от Гадина квартиру на Арбате, а сама зажила-таки напротив Моссовета в огромных апартаментах прямо над *Арагви*, открыла ресторацию *Три сестры*, так ей посоветовали назвать ее точку питания рядом со старым МХАТ, и картинную галерею, причем особенно успешно у нее шла как раз торговля картинами, *хотя, вот те крест, Петенька*, хохотала она, *я и в Третьяковской никогда не бывала*. Вот что значит напор и свежая сила, точное знание, чего ты хочешь. *Подожди*, смеялся Петя, *она еще возьмет и почту, и телеграф...* И пускался в рассуждения о завоевательной энергии *варвАр и вАрваров*: тогда московская интеллигенция еще не пережевала книгу Льва Гумилева про *этногенез* и не употребляла через слово выражение *пассионарность...* Но это все было у Вари впереди. Пока же они сидели с Петей на кухне однокомнатной кооперативной квартиры Рафаэля Гадина, часто бывавшего в командировках, попивали кофе и его коньячок и сплетничали.

— Ты знаешь, Варя, — говорил Петя с недоумением, — эта моя соседка-летчица, как только муж отправляется в полет, стучит мне в квартиру и просит позволить позвонить по телефону, потому что у них аппарат

сломался. Довольно странно: телефон у нее ломается всегда в отсутствии мужа. Причем приходит в халатике с голыми ляжками. И, кажется, без лифчика.

— Ну и что ж ты?

— Ну, мне и в голову не приходило, господь с тобой, Варька: замужняя соседка, дома злая свекровь-старуха. К тому же, я терпеть не могу таких больших женщин. Размером с лошадь.

Варя принималась хохотать. — Ну, я тоже размером не маленькая, но я же тебе нравлюсь? — кокетничала она. — Нет, умираю я с тебя, Петенька, такой наивный. Ведь это я ее подготовила.

— Нагадила, то есть?

— Можно и так сказать. Знаешь, она встречает меня как-то и говорит шепотом. Этот, говорит, мой сосед напротив очень странный. К нему часто приходят женщины. И знаешь, уже через пять минут, как дверь закроется, они там кричат на весь дом. Бьет он их что ли? Дура, говорю, так это ж они кончают. Она прямо рот раскрыла: так быстро! Вот теперь она к тебе теперь и ходит...

Кончилась эта история плачевно. Конечно, свекровь наябедничала сыну-летчику на невестку, повадившуюся к соседу, тот при встречах с Петей теперь не шутил, но смотрел волком, потом страшно жену поколотил: ее крики действительно разносились *по всему* дому. После этого она стала ходить в платке, посещать церковь, на Петю смотрела с ненавистью — ведь это он стал причиной ее несчастий. Наверное, самое для нее обидное было в том, что она так и осталась безгрешна...

Однажды я заехал к Пете — попрощаться, потому что он наутро отправлялся в Ялту, в писательский Дом творчества, это было сравнительно дешево тогда. В гостях у Пети никого не было, и мы сели за шахматы, которые он называл отчего-то *гендерной* игрой, *король старше королевы, но ему-то и ставят мат*. Мы играли, запивая это дело виски, которые ему поднесла его подружка-американка *в дорогу*. Здесь к слову, чтобы потом к этому не возвращаться, скажу, что на постоянной основе у Пети тогда было еще две подружки: клоунесса из цирка, которую однажды чуть не стошнило при виде ананаса из *Березки*, что припас ей Петя в виде угощения. Оказалось, она гастролировала в Биробиджане, где кроме ананасов другой еды не было. Но поскольку клоунесса была постоянно в разъездах, то была еще и дама-доктор, врач-отоларинголог, которую для краткости Петя называл *ухо-горло-нос*.

Помнится, в тот вечер мы разговорились на насущную тогда тему *отъезда*: наверное, кентуккский бурбон настроил. А поскольку американского виски было бутылки три, а закусывали мы только орешками и бананами из той же *Березки*, где торговали жратвой только за валюту, то у нас было время и вдохновение обсудить вопрос обстоятельно.

Тогда, казалось, едет вся Москва. Это Петю касалось, поскольку многие его знакомые или уже уехали, или *сидели в отказе*, как тогда говорили, или обстоятельно готовились к подаче документов на отъезд, передавая из рук в руки, как самиздат, вышедшую малым тиражом в издательстве *Прогресс* книжку *Фонды Америки* с грифом *дсп*, для служебного пользования. Счита-

лось, что выучив эту книжку наизусть и оказавшись в мифической тогда, как мусульманский рай, Америке, можно отлично устроиться на деньги американских налогоплательщиков. Потом выяснилось, конечно, что это верно лишь отчасти, и самым доступным для многих, уезжавших *по еврейской линии*, но не только не бывшими иудеями, но и вообще на имевшими еврейской крови, оказался *вэлфэр*, то есть пособие для безработных и отверженных. А вот чтобы получить приличное кагальное вспомоществование требовалось сделать обрезание и носить кипу. Мы и обсуждали, собственно, тот факт, что Пете недавно пришло приглашение от мифической тети из Хайфы — видно, кто-то из его знакомых, сидя в промежуточном пункте ХИАСа в Вене, занес его имя в списки этой еврейской организации. Более того, Пете прислали на его еврейскую бедность посылку: дамские сапоги сорок второго размера на рыбьем меху и нейлоновую куртку, кажется, поношенную. Петя хохотал, примеривал сапоги, наряжался в куртку и спрашивал меня, похож ли он на еврейского беженца из черты оседлости, и примут ли его в кибуц? При всем том вопрос *ехать — не ехать* в те годы обсуждался в Москве на любой интеллигентской кухне. И Петя говорил, что иногда точно знаешь, что ехать надо, *валить*, как тогда говорили, но так же точно подчас чувствуешь, что не надо ни в коем случае. *Ну, как бывают же дни, когда черт бы с ним, с бессмертием души*, объяснял Петя.

На середине второй бутылки Петя сделался патриотом. Он вспомнил о своем православии и о своих дворянских корнях. Он декламировал строки неизвестного мне автора:

Тихим вздохом, легким шагом,  
через сумрак смутных дней  
по лугам и по оврагам  
бедной Родины моей,  
по глухим ее лесам,  
по непаханным полям  
каждый вечер бродит кто-то,  
утомленный и больной ...

И Петя принялся настаивать, что только здесь, в наших палестинах, можно узреть фаворский свет, и я, черт бы его побрал, никак не мог вспомнить, что это такое, читал где-то у Пастернака. Потом Петя тихо и скорбно возгласил, что, мол, Бог мой, как печальна наша Россия, как неинтересна наша страна, и сколько в ней неприятного. Кажется, он употребил выражение *самодельная страна*, и задал мне на засыпку вопрос, какие на мой взгляд в России самые печальные места? Кладбища, наверное, предположил я. *Да нет же, не погосты и не тюрьмы, а самая последняя здесь тоска — это тоска вокзалов, потому, наверное, что они сулят дальнюю дорогу, дальнюю непременно, потому что в России нет коротких дорог...*

Потом по обычному русскому сюжету мы стали ругать Запад, ругать от того, наверное, что там не были и никогда, скорее всего, не будем. Больше всего от Пети доставалось Америке. Чего стоит цивилизация, построенная на грамматическом невежестве. Этот генерал Грант хотел написать на приказе *all correct*, а написал ОК, то есть сделал сразу две грамматические ошибки. И на этом оказалась построена великая страна, на этом самом позорном ОК. *И это междометие повторяет*

*весь мир, как мы — во блядь!* И тут Петя допустил логический сбой и застонал *да и куда ехать к этим окейщикам, ведь сожрет тоска по ненавистной родине... ах, эта ненависть и эта ностальгия, ах, эта скорбь по идущему сквозь пространство и пургу поезду...*

— Я ведь буду скучать даже по этой своей норе, — говорил Петя, — по соседкам по подъезду, наконец...

Тут раздался звонок: не в дверь Пети непосредственно, а звонок с площадки, которая была отделена от квартир тамбуром и дверью с матовым пупырчатым стеклом. — Это Варька пришла попрощаться, — сказал Петя весело и пошел открывать. Вернулся он один, бледный и испуганный, каким я его никогда не видел. *Боже, простонал он, она нашла меня и здесь...* И тщательно запер дверь квартиры.

— Кто? — спросил я, заразившись Петиним перепугом, потому что Петя так дрожал, будто только что столкнулся лоб в лоб с нечистой силой. Только что не крестился.

— Надька, — сказал он и опустился на стул, — я увидел ее сквозь стекло. И узнал. Это точно она. Стоит там и дышит. Но я ей не открыл.

Смотреть на моего друга было жалко. Я подлил ему виски, ничего не спрашивая, ожидая, когда он сам расскажет. Петя выпил и сказал:

— Она преследует меня много лет.

Звонок повторился, Петя содрогнулся.

— А что она хочет? — спросил я. — И кто она?

— Аспирантка. Философского факультета. Из Краснодара. Я ее и видел-то два раза в жизни. — Он взгля-

нул на меня и замотал головой: — Нет, нет, у меня с ней никогда ничего не было. Я ее не знаю, понимаешь?

— Ничего не понимаю, — признался я.

Тут раздалось еще несколько настырных звонков: один за другим.

— Она писала мне письма. Она преследовала меня. Она звонила моей матери. Она сумасшедшая. Однажды я получил от нее посылку из Крыма, там было много кусков мыла, пересыпанных галькой, представляешь, — сказал Петя в отчаянии. — И вот что самое плохое — я это мыло постепенно использовал. Смыслил, так сказать. Не из жадности же, далось мне ее мыло, но я просто не знал, куда отправить его обратно.

— Она хочет любви? — спросил я тихо.

— Хуже, — прошептал Петя с ужасом, — она хочет от меня ребенка.

Я хотел было высказаться в том смысле, что это не самое страшное, но прикусил язык, вспомнив, что деторождение — большая для Пети тема. Он и сейчас, как ни был напуган, успел припомнить пару коронных своих цитат: из Плутарха, который, цитируя Геродота, писал, что фракийцы *оплакивали родившегося, который идет на встречу многим печалям, а если кто умирал, того они выносили с приветом и радостью*. Успел он приплести и Иова, который, якобы, *заплакал от жалости*, когда ему сообщили о рождении сына. Дальше последовало опять нечто античное, гекзаметром:

Лучший жребий человека совсем не родиться  
*Не видеть ни света дня, ни солнечных лучей,*—

и тут раздался грохот, звон разбитого стекла, тяжелый стук, как от падения на пол человеческого тела. И потом — ни звука, что было особенно зловеще.

— Ну, хочешь, я открою, — предложил я.

Петя обреченно помотал головой. В тамбуре под самой дверью лежало на полу в луже крови тело маленькой женщины. А сама матовая дверь на лестничную клетку была прошиблена, зияла торчавшими кое-как треугольными осколками.

— Ее надо срочно убрать, — сказал я, — помоги мне.

Вдвоем мы затащили тело в квартиру, оно оставляло кровавый след на полу, и, поскольку Петя впал в ступор, мне пришлось самому замыть кровь в коридоре.

— Спасибо, — сказал Петя довольно безучастно, когда я кончил, — кажется, с ней ничего страшного, она только порезала руки, когда разбивала стекло. Надо бы перевязать, но у меня и бинтов нету...

— Я чайник поставлю, — предложил отчего-то я, от растерянности, наверное, соображая, что нам делать.

В ответ Петя, глядя на окровавленную гостью, почувствовано продекламировал:

*Возьми обратно этот чайник,*

*Он ненавистен мне навек:*

*Я был премудрости начальник,*

*А стал пропавший человек.*

— Это ты сам написал? — спросила раненая.

— Нет, Корнеев.

— Знаешь что, кончай херню. Звони соседям, — сказал я, уже сердясь на него, — что ты сидишь. Как вы? — спросил я у девицы.

— Надежда, — сказала она, по-видимому не расслышав, поскольку не отрывала глаз от Пети, который отвернулся и набирал номер телефона. Раны промыли водой с виски, пришла снизу Варя, принесла бинт, перевязала подпольщицу, ни о чем не спрашивая. Тут же пришла и милиция, которую вызвала нервная соседка снизу. И здесь Варя оказалась на высоте. У безучастного Пети спросили лишь, прописан ли он здесь, он предъявил сержанту паспорт, а Варя тем временем втолковывала младшему лейтенанту, что, мол, ничего страшного, у ее подруги в руках лопнула бутылка шампанского.

— А дверь? — хмуро спросил лейтенант.

— В дверях и лопнула, товарищ лейтенант, — объяснила Варя, повышая его в чине, — вы же знаете, какие теперь у нас делают бутылки. — И кокетливо добавила: — И какое шампанское.

Надя, улыбаясь своей круглой довольно умильной и на редкость смышленной мордашкой, только что чуть одутловатой, как бывает у шизофреничек, кивала, и даже показала перебинтованными руками, что, мол, вот так бутылка разорвалась — у-ух! И милиция ушла.

— Вот, Петенька, — сказала Варя, сияя не к месту своей искрящейся улыбкой, — до чего ты довел бедную девушку. Что б тебе ее трахнуть, и дело с концом. Ты все равно с бабами держать дистанцию не умеешь.

Петя только отмахнулся. И мне показалось, что Варя была в курсе дела, за коньячком болтливый Петя, видно, ей уж рассказал всю историю, тем более, что эта

самая Надя уже несколько раз звонила сюда, Елена Петровна дала ей новый Петин номер, устав, наверное, от ее звонков. Я засобирался, но тут Петя неожиданно энергично запротестовал: нет, останься, мы еще не допили, *мы еще сбегает*. Он явно страшился оставаться с этой самой Надей наедине, как бурсак Хома с мертвой панночкой.

— Пусть пьют, — сказала Варя. И предложила, обращаясь к девице на проституточий манер: — Пойдем ко мне, НадИн, муж в командировке, а Пете собираться надо.

— Куда собираться? — тревожно спросила Надя.

— Ну, на Кавказ что ли. — Она подмигнула Пете и Надю увела. А Петя упросил меня его проводить, то есть остаться у него ночевать. *Сделай одолжение в моем веке*, прибавил он простодушно, забыв уже, сколько одолжений я ему сделал. Самое поразительное, что Петя этой ночью успел еще написать две внутренних рецензии, будто не пил, и я же должен был их доставить в редакцию одного толстого журнала. Впрочем, моя редакция была неподалеку. Пока Петя работал, я подсматривал за ним. Конечно, я готов был оказывать ему услуги от чистого сердца, но все-таки эта естественная, как дыхание, манера Пети использовать других людей восхищала. Я припомнил две истории.

Однажды летом Петю занесло в *Заветы Ильича* в гости к вдове какого-то детского писателя, привезенной им из Ростова-на-Дону. С самим писателем Петя был знаком и неоднократно пил водку в Доме литераторов. Тот был немолод и в пятьдесят истерически влюбился в эту ростовскую многодетную девушку, которая наплела

ему к тому же, что является, якобы, дочерью модного тамошнего адвоката. Или гинеколога, это не важно. Потом он как-то быстро погиб той зимой под поездом, когда, устремившись в магазин за водкой, переезжал на велосипеде обледенелый переезд. Теперь, могила еще не заросла, она судилась с сестрой покойного из-за наследства. Это была настоящая авантюристка, о которой в буфете ЦДЛ поговаривали, что пожилого мужа она отравила. Петя не верил и поперся к ней с изъятием соболезнования. В соболезнованиях он провел там три дня, а когда, наконец, вырвался, то обнаружил, что из его сумки пропали портмоне и паспорт. Он смутно вспоминал, что в порывах пьяного сочувствия прорабатывал план женитьбы на ростовской детной вдове, но теперь мучился похмельным стыдом и желал бы паспорт вернуть.

Похитительница позвонила сама, сообщила, что паспорт Пети ею найден и поинтересовалась, как насчет женитьбы. Тогда-то Петя и призвал меня, и мы пришли на свидание вдвоем. Мне пришлось взять инициативу в свои руки, и удалось-таки вырвать документ из цепких, как у цыганки, ручек прелестницы, помойный вид которой меня поразил. И я лишний раз удивился Петиной всеядности, который, впрочем, оправдывался тем, что ему *было жалко вдову*.

Другой случай был иного ряда. Этот был связан с Петиной второй книжкой, которую задерживала типография, поскольку издательство не перевело денег во время. Но Петя уже назначил день презентации, назвал гостей, стол, фигурально говоря, был уже накрыт. Я был призван на сей раз, как шофер. Ибо план был такой: Пе-

тя берет несколько бутылок водки, подпаивает типографских грузчиков и подговаривает выкрасть несколько пачек со склада. От водки грузчики не отказались, но красть книги решительно не желали. Мотив был предельно ясно сформулирован бригадиром: *не хочу обратно на нары хуй драть*. Миссия была возложена на меня. Пока Петя отвлекал персонал, я спер-таки пару пачек, вынеся их под пальто. И фуршет удался, Петя раздавал автографы, чуть не забыв подарить мне экземпляр.

Вспоминая все это, я удивлялся самому себе. Больше всего меня озадачивал тот факт, что это не Петя мне остается благодарен, но я сам, служа ему, чувствую нечто похожее на благодарность. И я решил, что это во мне проявляется женская сторона характера, которая есть, говорят, у каждого мужчины. Нужно было бы обсудить на досуге с самим Петей эту тему...

Я все это имел случай вспомнить, потому что история с Надей отнюдь не кончилась тем вечером, когда Варвара забрала ее к себе. Рано утром мы встали, наспех выпили чаю, Петя подхватил уже собранный чемодан и машинку, мы спустились вниз. Нам предстояло доехать до станции метро, потом в метро сделать пересадку, и проститься на Юго-Западной: оттуда шел во Внуково прямой автобус... Надю, аккуратно перебинтованную, мы заметили только уже у входа в метро. Видно, она дожидалась у подъезда и принялась нас преследовать. В вагоне она уселась прямо напротив нас, пожирая Петю глазами. Тот ерзал, делал вид, что не замечает девушку, обращался ко мне как бы непринужденно. У него стал подергиваться глаз. Когда мы делали

пересадку на станции *Площадь Свердлова*, у нас был шанс затеряться в толпе при переходе, и в какой-то момент казалось — мы оторвались. Но не тут-то было: в тесно набитом вагоне я вскоре опять заметил ее. После *Парка культуры* народ схлынул, и оказалось, что Надя опять сидит напротив как не в чем ни бывало, и было чувство, что нас преследует привидение. Мы старались не обращать на нее внимание. *В конце концов, нет у нее билета на самолет до Симферополя*, буркнул побледневший Петя. Поезд остановился на метромосту, на *Ленинских горах*. И тут произошло невероятное: мы и глазом не успели моргнуть, как Надя подошла к нам, легко подхватила Петин чемодан, стоявший на полу, и выскользнула с ним на перрон. И двери вагона сомкнулись, а поезд устремился в тоннель.

На станции *Университет* мы пришли в себя. Так, сказал Петя, обретя свою привычную предприимчивость, *она живет в общежитии, в доме аспиранта и студента на Вернадского, она как-то приглашала меня туда на день рождения*. И Петя изложил целый план отлова своего чемодана. *Сумасшедшие очень хитры, но чемодан тяжелый*. Он поедет в ближайшую кассу *Аэрофлота* и поменяет билет на вечер, я же должен выйти на станции метро *Проспект Вернадского* и подстеречь воровку там, отобрать у нее чемодан и ждать Петю. Так и сделали. У меня, правда, было подозрение, что она может пересесть в такси, но Петя уверенно сказал, что на такси у нее нет денег. И оказался прав: едва Петя уехал в Центр, а я вышел на станции *Вернадского*, как уже на следующем поезде туда приехала Надя. Но

едва я подступил к ней, как она уселась на чемодан и громко завопила:

— Помогите!

Проклиная Петю с его любвеобильностью, понимая, что не могу отобрать чемодан у бедной девушки при людях и не желая оказаться в околотке, я отпустил ее, заметив лишь, каким выходом она воспользовалась, и стал ждать Петю. Удивительная вещь: вчера вечером он затравленно переживал осаду, но теперь был в самом наступательном настроении. *Я ее побью*, сказал он, едва понял, что чемодан я упустил. И мы бросились в погоню — искать ее в общежитии. Дальше все было делом техники. Мы обнаружили ее в ее же комнате: она пугливо жалась в угол кровати, кутаясь в одеяло, и по щекам ее текли редкие слезы. Кажется, теперь она и сама испугалась. Петя глядел строго и грозно. Девушка быстро сообразила, что чемодан — в соседней комнате у подружки под кроватью. Чемодан был извлечен.

— Открывала? — спросил Петя тоном следователя.  
— Если пропала бутылка виски в дорогу — задушу.

— Не открывала я, — запричитала бедная Надя, дрожа и крестясь, — ей Богу.

— Замки целы, — сказал Петя, — пошли.

Но тут Петя сделал жест, которого я от него не ожидал: он подошел к кровати и погладил Надю по голове. Он провел ладонью по ее мокрой от слез щеке. И пробормотал что-то в роде *может ты и права, и надо хоть иногда себе потакать...*

— Я твой должник, — сказал Петя уже на улице. Мне бы послать его по матери, но я лишь поцеловал Петю на дорожку.

## ПОСЛЕ ОБЫСКА НУЖНО ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

Все, так сказать, *жертвы* Петиных страстей — так, во всяком случае, подавали дело строгие дамы, наблюдавшие не без раздражения и доли ханжества, Петину жизнь со стороны, — лишившись рано или поздно Петиных объятий, отнюдь не гибли от растоптанной любви, но отлично устраивались, выходили замуж и рожали детей, испытывая к бывшему мужу ли, любовнику ли скорее благодарность. Вышла замуж Мьяйле, став матерью двух прелестных малышей, вышла замуж Татьяна и тоже родила двоих девочек. Быть может, не так складно пошла жизнь у Иры, она выходила после Пети замуж трижды, но всё у нее не ладилось, все ей казались пресноваты. Вот и эта история, которую я сейчас расскажу, закончилась для девушки Али по домашнему имени Татарин самым распрекрасным образом: она, бросив ради Пети жениха, потом вышла замуж за краснодеревщика, по тогдашним меркам состоятельного человека, и родила целых четверых татарчат.

Их роман с Петей развивался достаточно драматично и страстно, не без доли цыганщины. Эта самая Алечка действительно была татаркой — подружкой Лизы. Обстоятельства ее появления в семействе Камневых были экстравагантны. У Лизы появился не совсем обычный поклонник: верующий иудей с пейсами, при этом — генеральский внук, — несмотря на тихий полуофициальный антисемитизм, в советской армии были даже и генералы-евреи. В те годы, как и в другие периоды ис-

тории, золотая молодежь *искала* себя. Так, Лизин приятель на первом курсе отметил тем, что в компании таких же как сам обкуренных балбесов из состоятельных семей срывал на улице Горького красные первомайские флаги. Но был *отмазан*, как тогда говорили, дедушкой-генералом, хотя ему светила если не колония, то армия точно. Не найдя себя на почве антисоветского флагоборчества, юноша возмечтал о Палестине, и чем талмудистская вера хуже с точки зрения духовных исканий, скажем, буддистской. Не говоря уж о том, что в те годы во Внутреннюю Монголию по туристической путевке было никак не попасть, и в Тибет по *вызову* тети не пускали. У этого юноши оказался товарищ по кружку подпольного изучения иврита, со школьной скамьи имевшей невесту, эту самую стройную и худенькую, правда — с большими красными руками, но зато с прелестной порочно-застенчивой улыбкой, татарке Алечке, которая тоже собиралась вместе с суженым отбыть не сегодня завтра в страну обетованную. И тоже учила иврит, каковое учение ей, закоренелой троечнице, давалось трудно.

Дальнейшие события мне известны в пересказе Лизы. Летом Елена Петровна на пару со старинной своей ленинградской подругой, женой коллеги мужа, сняла милейшую дачку в Усть-Нарве, старинном ганзейском курорте на территории Эстонии, с дореволюционным еще деревянным *вокзалом* в прибалтийских белого песка дюнах, с надгробным камнем Игоря Северянина у дороги, с целым дачным поселком, принадлежавшем некогда джаз-банду Утесова. Кто там бывал, тот помнит, что городок стоит по левую сторону устья реки Нарва,

при впадении ее в Финляндский залив. А на другой стороне реки жилья нет, но густится сосновый бор с маслятами. Именно обилие грибов в то лето, по мнению Лизы, и изменило так круто личную жизнь ее подруги Алечки по прозвищу Татарин.

Поскольку муж Виктор Владимирович Камнев и на эту дачу ехать наотрез отказался, а ленинградскую подругу позвали домашние дела, то Елена Петровна, чтобы дача, снятая на весь сезон, не простаивала, призвала молодежь. Приехала дочь Лиза с тогдашним своим, первым и недолгим, мужем-невропатологом, холостой и веселый сын Петя, сообразивший, что как-нибудь, соскучившись в кругу семьи, доберется автобусом от Нарвы до Таллина, куда его звала в гости милая эстонка Эве, окна спальни которой по ее рассказам выходили ровнехонько на площадь ратуши. И Петя решил, что будет весьма складно, валяясь в постели и держа русую головку Эве на плече, слушать шипенье дров в камине, смотреть на соборный шпиль и на старинные часы на башне, на печные трубы на крышах Старого города, отглатывая понемногу тягучий ликер *Вана Таллин* — *такое у братишки было европейское настроение, смеялась потом Лиза.*

Но вышло все иначе: за Лизой ринулась ее подруга Аля, заявив, что, ввиду подачи заявления на израильскую репатриацию, это ее лето, быть может, — последнее лето на родине. В скобках заметим, что Эстония никак ее родиной не была, она имела в виду Советский Союз, наверное, но, скорее всего, она имела в виду все-таки Петю. Поскольку, по наблюдениям Лизы, Аля давно была в ее старшего брата тайно влюблена, хоть Петя

этого и не замечал. И Лиза ему ничего об этом не говорила, *не замечает — и слава Богу*. Петя, как и многие русские светские православные, был по складу скорее пантеист, чем христианин, точнее — стихийный язычник, и потому, наверное, был заядлым грибником. Однажды вечером, когда вся компания, включая Елену Петровну, сидела за вечерним чаем, Петя объявил, что на следующее утро встает очень рано — *за грибами*, а потому отправляется почивать. *Ему было страшно скучно с нами*, заметила Лиза немного обиженно. Петя действительно рано поднялся, стараясь не шуметь и никого не будить, тихо выпил кофе на кухне и отправился. *Я услышала сквозь сон, как шебуршитесь за стеной Татарин*, вспоминала потом Лиза, *и уже тогда все поняла...* Аля нагнала Петю, который шагал к паромной речной переправе, заявила, что тоже любит собирать грибы *и вообще*, при этом сладко потянулась, выставив бугорки груди. Петя, должно быть, лишь пожал плечами, сказал что-нибудь дежурное, мол, *вдвоем веселее*, но, скорее всего, не был доволен: его совершенно не тяготило одиночество, потому что *в лесу надобно размышлять*.

Знает только бор сосновый, *как поладили они*, лишь однажды Петя, почесываясь, вспомнил, что *мох был сухой*. Как бы там ни было, но одним прекрасным днем в сентябре Петя спросонья открыл дверь своей квартиры на неожиданный звонок и обнаружил на пороге Татарина с чемоданом. Наверное, с тем самым, который до того был собран для отъезда в Палестину. Мне неизвестно, какие чувства вызвало у Пети, так складно устроившегося в своей позе холостяка, это явление. Так

или иначе, но отправить Татарина обратно к гражданскому мужу у него духу не хватило. И Аля стала жить у Пети на положении тоже гражданской жены, причем она оказалась замечательно подходящей подругой: веселой, богемно непрехотливой и, как увидим, отнюдь не робкого десятка. Она, притершись в семье московских *отказников*, как назывались тогда не с первой попытки убывавшие по израильским визам эмигранты, сделалась довольно типичной для того времени *подругой диссидента*, сейчас этого типа почти не встретишь: лихой, ироничной, курящей, с матерком и порывами к самопожертвованию. Но и со скрываемой до времени тягой к *простому женскому счастью*. Петя не мог последнего нюанса не чувствовать, скажем, однажды он застенчиво признался, когда я был у них в гостях, что *Алина мама подарила нам тахту*. Этот двуспальный предмет обихода позже исчез, отправившись на дачу к какой-то из Петиных подружек...

Конечно, образцовым мужем Петя и тогда не был, был склонен к неожиданным исчезновениям, многих своих связей не прерывал, ходил на приемы в американское посольство, куда своего Татарина не брал. Алечка относилась с пониманием, Петю обожала, была ручной и старалась не огорчать хозяина такими проявлениями, как сплин, ревность, капризы, не говоря уж о нежданной беременности. Поэтому в один прекрасный вечер, когда Петя, до того мирно сидевший за столом и попивавший водочку, вдруг забеспокоился, занервничал, нежданно засобирался, заторопился, Алечка на это особого внимания не обратила. Ну, бывает, ну, попала

спяну вожжа под хвост, ну, утомился домашним бытом, хотя было уже около десяти вечера.

Однако все было не так просто. Потом Петя говорил, что такое бывало с ним не раз: какое-то физическое ощущение надвигающейся опасности, животная тревога, *как у крыс, предчувствующих пожар в доме или крушение судна*. Он отправился в тот вечер к одной своей старинной одинокой подруге на другой конец Москвы, у которой успокоился, заснул и продрях до обеда. Очнувшись, он принял душ и вспомнил о своих вечерних страхах. И позвонил домой. Татарин сказала, что *они* пришли минут через десять после его исчезновения, что обыск *вопреки закону* — она знала законы — длился за полночь, что унесли все рукописи, обе машинки и даже едва початую пачку чистой бумаги. *Паспорт взяли*, тут же спросил Петя. Паспорт остался на месте, на полке в шкафу. *Значит, это не арест*, утешил Петя подругу. У меня к тебе просьба, Алька: комнату после них нужно проветрить.

— Уже сделано, — весело сказал сообразительный Татарин.

И Петя понял, что во всем виновата случайная публикация в зарубежном журнале *Гондвана*, издававшемся в Париже одним коллекционером-меценатом и до России почти не доходившем, подборка из тех самых юношеских физиологических рассказов о *бедных людях, униженных и оскорбленных* Страны Советов. В интервью, которое давал издатель-меценат радиостанции *Свободная Европа*, он рекламировал свое начинание и среди авторов назвал Камнева Петю — так передали Кобелевкеры, которые слушали *вражеское* радио регу-

лярно. Такие вещи в те годы можно было счесть провокацией или списать на эмигрантскую тупость, потому что *органы* тоже слушали радио внимательно: позже Пете на допросе зачитывали цитату из *радиоперехвата*, так у них на их языке называлась расшифровка записи передачи. И даже одна эта деталь говорила о степени ностальгии КГБ по временам массового отлова американских шпионов при Хрущеве, в разгар холодной войны. Теперь же на их долю осталась одна мелочевка, и они не могли не понимать, что все-таки никак не тянет на орден или очередную звезду возня с раздолбаями вроде Пети.

Об обыске тоже передали *по голосам*, как вкуче назывались тогда в интеллигентских кругах западные радиостанции, вещавшие по-русски. И Петя *впал в моду*, как он выражался. Конечно, среди знакомых Пети были такие, у кого это дело вызвало опаску. Должен признаться, к таковым относился и ваш покорный слуга: я все-таки работал в советской редакции, а Петю с очевидностью относил в лагерь диссидентский, хотя до прокламаций дело еще не дошло. Нашлись даже люди из случайных собутыльников и партнерш, вовсе переставшие Пете звонить. Но времена на дворе стояли легкомысленные, партийных *геронтов* не только что перестали бояться, но над ними открыто потешались, в действиях КГБ стало проступать что-то шутейное, карнавальное, наверное, наиболее чуткие из этих *солдат партии* уже предчувствовали перемены, которые к слову не замедлили воспоследовать — лет через пять. И место давних Петиных знакомых постепенно заступили другие, которые потянулись к Пете с самыми разными

предложениями, подчас экстравагантными. Впрочем, даже легкомысленный Петя кое в чем стал подозревать подвох, а в самих посетителях и в их инициативах — откровенную глупость, если не провокацию.

Скажем, однажды Пете нежданно позвонил довольно туманный знакомый, обитатель города Симферополь, с которым Петя познакомился, когда был зимой в Доме творчества в Ялте. Знакомство это было довольно странным, и, когда Петя изложил мне подробности, я заметил, что все эти обстоятельства напоминают рассчитанную на него, на Петю, западню. *Ты думаешь*, обронил Петя и посмотрел на меня задумчиво. Впрочем, судите сами. Среди скучнейших будней Дома творчества происходит следующее: к Пете в парке подходит молодец наружности подпольного художника-нонконформиста, в патлах и бороде, и, провинциально выговаривая слова, предлагает выпить *а то здесь не с кем*. Когда он представился, у Пети отпали сомнения — выпить ли с ним. Выпить с ним было надо: это был малый родом с Алтая, но семья у него в Симферополе, по специальности художник-оформитель, и нынче у него постоянная работа — в Феодосии, где он в храме реставрирует иконостас. *Нынче я в отпуске*, сказал он. Парень обладал замечательной фамилией Пифтанкин и оказался сластолюбив, но застенчив и совестлив. В первый же день выпивания он поведал, что успел соблазнить здешнюю полумойку, которой целый вечер помогал мыть полы. Она сказала, что муж ее предупреждал, когда она устраивалась на работу в *этот Дом*, что *там тебя будут ебать*; она отвечала, что, мол, нет, *там интеллигентные люди*, но муж оказался прав, теперь

она видит. Когда она отдавалась богомазу, лежа на спине на узкой кровати в его номере, то загоразивала красной, воспаленной от хлора, рукой глаза, будто от солнца.

На второй день выпивания Пифтанкин изложил, что в гостинице *Ялта* живет у него кореш, *тоже художник*, который взял зимний подряд на декоративное панно из смальты на гостиничном пляже. И который ждет их обоих в гости, Пифтанкина и Петю. Вопросов не возникало, нужно было ехать, благо недлалеко. Звали кореша Лева, несмотря на то, что он изначально был грузин из Сухуми. Лева оказался приветливым, но хитроватым жиганом, самодовольным, гладким, сытым, денежным, и когда Петя после бутылки коньяка наивно решил уточнить, не учились ли друзья вместе в художественном, скажем, училище, те переглянулись, и грузин уточнил, что сам он художеством не занимается, но держит в Симферополе цех по изготовлению кафеля. Заметим, что до официального разрешения в стране кооперативной деятельности и индивидуального бизнеса было еще далеко. Короче, это был *цеховик*, подпольный предприниматель, и единственный вывод, который сделал из этого открытия Петя, был тот, что пить на его *левые бабки* отнюдь не зазорно. И еще два дня он пил с ними коньяк *Белый аист*, не выходя из гостиничного номера гостеприимного бандюка.

И вот теперь, как раз после обыска этот самый Лева вдруг обнаружился в столице и напросился в гости. Отказать было нельзя. Когда гость приехал, дома Петя был один. Едва Лева вошел, от водки отказался решительно и разложил на столе на кухне аккуратно завер-

нутые в тряпочки иконки в серебре — финифть. И спросил, нет ли у Пети кого-нибудь, кто интересовался бы все это приобрести. *Ну, коллекционера.* Продавец все предлагал Пете подержать вещички, чтобы лучше рассмотреть, но Петя демонстративно убрал руки со стола. Когда он мне рассказывал об этом странном визите, я спросил, отчего он вдруг проявил такую предусмотрительность. *Мне не понравились его глаза, и я ждал, что дверь откроется, и опять придут с обыском,* сказал Петя. Из чего я мог заключить, раз он озаботился даже об отсутствии своих отпечатком пальцев на этом опасном товаре, что в Пете наконец-то проснулось чувство самосохранения.

Здравый смысл Петя проявил и во время другого посещения. Один далекий знакомый напросился с визитом, но явился не один. Он привел с собой довольно потрепанного мужичишку с сальной гривой пегих волос и с узенькой худой бороденкой. Оказалось, что этот посетитель — дьякон, которого за внутрицерковное инакомыслие выгнали из прихода в Москве и сослали в Луганск, что ли. Пострадал святой отец из-за того, что написал *меморандум* — тогда недовольные властью писали не статьи или там *опыты*, но меморандумы — о разорении большевиками в тридцатых годах одной женской обители, в которой он иногда по праздникам помогал служить. И просил Петю меморандум спрятать, а при случае переправить на Запад. Тут уж Петя откровенно рассмеялся и спросил, не делают ли в его Луганске *колбасу из детей*. Дьякон покоробился.

— Ко мне тут подходил один человек, — пояснил Петя, — и попросил передать на радиостанцию *Свобо-*

да, о том, как в его родном городе производят такую колбаску. Но я вынужден был объяснить, что на этой радиостанции не служу...

Но случались и менее дурацкие визиты. Скажем, к Пете приходил странный человек по фамилии Альперт, который написал брошюру *Как вести себя на допросе*. По образованию он был инженер и работал на автобазе, проверяя техническое состояние поливальных машин перед их выходом на линию. Брошюра была очень толковая, для лучшего понимания и запоминания своих конституционных прав балбесами-неофитами, которые впервые попали в *контору* на допрос, все правила были сочинены и расположены так, что получался своего рода акrostих, заглавные буквы образовывали что-то вроде *тыква*. Пете понравилась доступность и несомненная полезность этой инструкции, а также порядочный, почти академический, вид самого просветителя, он напоил дядю чаем, и расстались они дружески. Вскоре выяснилось, впрочем, что этого самого Альперта посадили-таки на три года, несмотря на его квалификацию. Причем применив ту самую знаменитую статью о *распространении клеветнических измышлений*, что было по-своему забавно: осужденный популяризировал как раз их собственные, советские, нормы права. Впрочем, его теория предполагала невыносимое для властей допущение, что они с бухты барахты должны соблюдать какие-то конституционные права умников и буквалистов, вовсе не для них писанные. У них же одно право — спать возле параши.

Еще один визит оставил у Пети впечатление *милое и грустное*, как он сам выразился в духе нынешней

женской прозы. К нему завалился один поэт и критик, парень ученый, кандидат филологических наук, которого Петя знал с молодости и которому симпатизировал. Тот был из породы чудаков, чуть не от мира сего, правдоискатель, и скажу сразу, что через год после этих событий он трагически погиб: на улице его, пребывавшего в виде не самом трезвом, сбила машина. Пришел он к Пете, так высоко себя зарекомендовавшему в мире не подцензурной отечественной словесности, с предложением организовать подпольный литературный журнал. Идея не была оригинальной, самиздатовские альманахи и журналчики возникали то тут, то там. Чаще всего их отлавливали на первом же номере, но в Питере, скажем, несколько таких журналов довольно долго держались. Петя крякнул, ответил уклончиво. Он вспомнил дурацкую историю, приключившуюся незадолго до этого с этим самым поэтом. Он и его товарищ по цеху, работавший в сторожке, крепко выпивши, развлекались тем, что издевались над советской властью — это было общепринятое домашнее времяпрепровождение, развлечение вроде игры в дурака, и один другого попросил написать расписку, что, мол, такой-то давно работает на ЦРУ. Что-то вроде шуточного пари и пьяного розыгрыша. Товарищ Петиного гостя такую расписку написал, тот сунул ее в портфель. В метро спяну он натурально портфель забыл, и нашелся какой-то чистый сердцем гражданин, который портфель открыл, надеясь, возможно, чем-нибудь поживиться, увидел в нем свежий номер журнала *Континент* и в панике побежал на Лубянку. Где и обнаружили эту самую расписку, составленную по форме: *я такой-то и такой-то даю сию*

*расписку в том...*Этого самого мнимого американского резидента дернули на допрос, но следователю хватило то ли чувства юмора, то ли здравого смысла хода делу не давать. Да и какое дело можно было пришить полупьяному дворнику-стихотворцу, освобожденному от армии по психиатрической статье. Удивительно, но его пожурили, причем так вкрадчиво, что у того мелькнула ужасная мысль — если не посадят, то наверняка упекут обратно в психушку. Однако его лишь попросили пойти вон... Так вот, зная эту историю, Петя, конечно, ни в какую с этой публикой не связался бы, быть соредактором журнала отказался, но туманно пообещал, что сейчас у него ничего готового нет, но как только напишется, так сразу же он с удовольствием станет их автором, и этот посул ни к чему не обязывал. На чем и распрощались нежно, причем при выходе гость объявил, что прямо сегодня же едет в Ленинград собирать тексты у тамошних подпольных гениев. Закончилась поездка плачевно: на обратном пути на станции Бологое поэта-книгоношу вместе с пухлым портфелем рукописей сняли с поезда, мотивировав это тем, что он подозревается в ограблении, отвели в околоток, чуть побили, портфель отобрали. И отправили восвояси...

Наконец, был еще один визит, завершивший серию посещений Пети страждущими, А именно, его далекий знакомый, симпатичнейший еврей-растеряха, добродушный толстяк, по специальности — цирковой артист оригинального жанра, посетил Петю *по важному делу*. А именно: с просьбой проинструктировать его и его жену как лучше им получить вызов из Израиля — Петя отчего-то и в этой области прослыл спецом. Причем жену

Машу этот простодушный малый привел с собой. На фоне рохли-мужа она смотрелась роскошной красавицей, к тому же носила старинную фамилию Дубельт, и не преминула намекнуть, что она наследница Натальи Николаевны по прямой. И здесь начинается совсем новая история,

### **КЛОУН-ЕВРЕЙ — НЕПЛОХОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО**

Маша Дубельт обладала фигурой манекенщицы, чуть узковатой на Петин вкус, но не вовсе плоской, с некоторыми выпуклостями, и очень красивым правильным удлинённым лицом, которое портил лишь легкий астигматизм, но и это выглядело пикантно. Самого клоуна, ее мужа, толстого, добродушного и умного малого, звали отчего-то Митя, не самое популярное имя в еврейских семьях. Впрочем, Митя был из московской театральной интеллигенции, покойный его папа жил тем, что сочинял эстрадные скетчи, а мать некогда служила на радио звукорежиссером. Теперь Митя и мама, упоенно любя друг друга, жили вдвоем в коммунальной квартире в самом сердце Москвы, возле Никитской заставы, жили открытым домом, как некогда при отце. Митя был любим друзьями, остроумен, ироничен, в своем цирке он уже сделал какую-никакую карьеру, сам ставил отдельные номера, имел даже учеников в цирковом училище и из страны уезжать не собирался. Однако у него была одна слабость — русские красавицы из хороших семей. У женщин он, потливый и редковолосый, с ранним пузцом, к тому же с обожаемой еврей-

ской мамой, которой он звонил каждые полчаса, успехом не пользовался. Но, хитро играя на своем еврействе, он женился-таки в первый раз на роковой красавице, младшей из двух сестер Головиных, дочерей известного архитектора, знаменитых в богемной Москве. Обманул он ее тем, что обещал транспортировать в Вену и показывал израильский вызов. Когда выяснилось, что мама ехать не может по состоянию здоровья, а без мамы не может ехать сам Митя, возмущенная красавица плюнула ему в лицо и развелась. Петя знал эту историю, в салоне сестер Головиных он провел не один теплый вечер и именно там, к слову, подхватил свою американку. И был свидетелем на правах своего человека бурной личной жизни сестер.

Теперь Петя, едва увидев Машу Дубельт, которую он до того не знал, но о которой слышал вещи рода сомнительного, тут же смекнул, что и эту красавицу любвеобильный Митя поймал, скорее всего, на ту же удочку. Теперь парочка сидела на Петинной кухне, и Маша посматривала на Петю умоляющими глазами, будто тот был голландский консул, ведавший в те годы всеми израильскими вызовами. Втайне потрясенный Машинной красотой, Петя под коньяк, принесенный клоуном, спел целую серенаду про вызовы, отказы, ОВИР, кружки иврита, кибуцы, венские гостиницы, ХИАС, промежуточный пункт в римской Остии, а заодно про американские благотворительные фонды. Маша, преподаватель английского языка, стремилась, разумеется, именно туда, за океан, не в Израиль же. Короче, Петя выложил, все, что знал по этому предмету понаслышке, а Митя слушал с преувеличенным вниманием — он все знал не хуже

Пети, но даже задавал наводящие вопросы, разыгрывая заинтересованного и взволнованного простачка, боясь, видно, спугнуть красавицу жену. Так или иначе, но уже через два дня Маша Дубельт приехала к Пете одна и чуть не с порога оказалась в его постели, лишь слегка удивившись скорости, с какой Петя ее раздел и уложил.

Она оказалась превосходной любовницей. От Мити она вскоре ушла, убедившись, что с отъездом он ее обманывает, и сказала Пете, что нет, на евреев полагаться нельзя, надо искать природного американца. А пока суть, да дело, Маша часто навевалась к Пете, они трахались, чуть выпивали, снова трахались, болтали. И посреди этой болтовни как-то Маша обмолвилась, что дает частные уроки английского, и что сейчас у нее в одном весьма состоятельном семействе в учениках сразу трое погодков, и что мать семейства прекрасно его, Петю, знает. Петя заинтересовался. И когда Маша назвала имя и фамилию этой дамы, Петя был весьма озадачен: из далекой молодости всплыли в памяти фигуры, о которых Петя редко теперь вспоминал...

Однажды давным-давно Петин приятель-поэт привел к нему домой — Петя тогда еще жил с родителями — некоего господина, тоже поэта, носившего фамилию Алферов. Да-да, звали его Саша Алферов, и он был автором слов сервильной песенки, которую тогда пели во всех дешевых кабаках:

*Каурые и белые,  
Соловые и рыжие,  
Проходит кавалерия,  
Вы слышите, вы слышите...*

Ничего больше Алферов, кажется, не написал. Но был колоритнейшим типом. Это был мощный еврей с головой Краса, внук сапожника с Чистых прудов, выходца из южно русского местечка, до смерти так и не выучившегося говорить по-русски. Но Саша утверждал, что по матери он из князей Мещерских. Кстати, это было вероятно, поскольку его папа был партийцем средней руки, Петя подозревал — чекистом, и в конце двадцатых евреи этого рода занятий часто женились на бывших дворянках. Алферову очень понравился Камнев-старший, и уже в ходе третьего визита он подарил *профессору*, как он его неизменно называл, отличную икону начала восемнадцатого века, и эта икона с изображением на золотом фоне Богородицы в бордовом облачении и младенца Иисуса с взрослым лицом в красном с зеленым заняла место в профессорском кабинете. А по смерти отца отошла Пете.

Петя и Алферов сдружились, хоть второй и был старше Пети лет на пятнадцать. Зато жена Алферова Нина была Петиной ровесницей. Алферов, что называется, ввел Петю в дом — он был широк и гостеприимен, — и Петя стал часто бывать в этой семье. Так часто, что стал совсем своим, и перед ним не чинились. То есть внутренняя жизнь семейства, в котором было уже двое отпрысков, и Нина ждала третьего ребенка, была у Пети как на ладони. Семья занимала микроскопическую квартиру, из двух смежных комнаток, в крошечном Зюзино. Алферов собственноручно вырезал в стене кухни проем, и вырезанный кусок вставил между комнатами, так что получилась одна изолированная комната, а вторая — смежная с кухней, ее хозяин называл своим *ка-*

*бинетом*. Впрочем, никакой кабинет ему не был нужен, поскольку он занимался не столько умственным трудом, сколько спекуляцией дешевыми иконами, на которых сам черной шариковой ручкой подновлял глаза на святых ликах. Эти изделия пользовались спросом у африканских дипломатов, и некоторых клиентов Петя иногда заставлял в этом доме. Жизнь семейства была скромная, но гулевая: всегда стояла водка в холодильнике, на обед был неизменный хек с отварной картошкой, квашеная капуста с клюквой с Черемушкинского рынка, в квартире витал стойкий запах нестиранных зассанных пеленок и жареной рыбы.

Алферов был свободолобив, ругал на чем свет стоит *Софью Власьевну* и был связан с диссидентскими кругами, именно из его рук Петя впервые получил на прочтение невиданные тогда еще в метрополии три американских тома *полного* Мандельштама в красивых суперобложках и книгу Нины Берберовой *Курсив мой*. Конечно, Алферов слышал Петино имя по *Свободе*, похваливал его рассказы, и, кажется, ему импонировал и образ жизни Пети, и склонность того к полету, и свободные отношения с дамами, конечно: сам Алферов был по этой части большой *интересант*. Он любил вспоминать свои молодые подвиги, был не против и сейчас *сходить по девочкам*, но был обременен большой семьей и, кажется, любил свою молодую жену. Во всяком случае, отношения у них сохранились страстные. Он восхищался ее необычностью, резким умом, умением независимо держать себя даже в весьма двусмысленных обстоятельствах.

История любви этой пары была достойна если не романа, то повести. Однажды в июле Саша Алферов встречал на Курском вокзале свою жену и свою десятилетнюю дочь, которые возвращались из Крыма. Симферопольский поезд опаздывал, зато подошла тульская электричка. Из нее появилась маленькая, худенькая и бледная девушка по знакомству оказавшаяся Ниной, острая на язык, с живой симпатичной мордашкой, нервная, электрическая. Жену в тот день Саша так и не встретил, поскольку у него прямо на перроне начался сумасшедший роман, полный безумств и крайностей, и уже осенью он оказался женат на этой самой Нине, которой так и не удалось донести свои документы до приемной комиссии театрального училища, в которое она намеревалась поступать. Стать актрисой ей не очень хотелось, она лишь шла на поводу семейной традиции: ее мать была заслуженной артисткой Тульской драмы, отец — разъездным театральным режиссером. Напротив, ей с юности хотелось нормального регулярного человеческого дома, которого у нее никогда не было, и семьи, хотя Алферов, конечно, не был для роли хорошего мужа идеальной кандидатурой. Пошли детишки, и теперь жизнь Алферова протекала между чадами и домочадцами на фоне опасного его промысла фарцовщика, поскольку семью нужно было кормить, при этом сам глава семейства отнюдь не расстался со своими привычками гуляки и ресторанного завсегдатая. Петя застал не самую счастливую, по-видимому, фазу этого брака. Нина резала себе руки, с криками бегала окровавленная по подъезду, ее воплям позавидовала бы жена Мармеладова. На столе на кухне всегда громоздилась

грязная посуда, невытые дети орали по своим мокрым постелькам, и надо было быть немалым жизнелюбцем и философом, чтобы продолжать в этой милой атмосфере принимать гостей, жить на вольную ногу и заниматься своим сомнительным ремеслом.

Иногда Саша Алферов приглашал Петю в Донские бани, где собиралась по четвергам одна и та же компания фарцовщиков средней руки. Особенно Пете запомнился один художник, незадавшийся живописец, мизантроп и разбойник по типу, зарабатывавший реставрацией икон, то есть Алферовский поделщик. Петя рассказывал, вспоминая те времена, что как-то он спросил этого художника не без подковырки, когда они, завернутые в простыни, пили пиво и водку после парной, от чего бы тому не писать, скажем, портреты Брежнева. Художник посмотрел на него с изумлением:

— Там, знаешь ли, стоит очень большая очередь из академиков и прочих заслуженных деятелей искусства.

Художник вспоминал, что одно время он зарабатывал тем, что писал копии картин русских мастеров.

— Меня на ночь оставляли в Третьяковке и запирали в зале. И вот, чтобы начать делать копию, надо настроить гамму, попасть в тон. Берешь, бывало, кисточку, чуть мажешь по Шишкину, нет, не то, надо белил добавить, снова чуть мажешь, пока не попадешь точно...

Наивного Петю, воспитанного в благоговении перед русским искусством, устрашал этот цинизм. К тому же в художнике было что-то забубенное, пропащее. Эта фигура как бы сливалась с заунывным и тоскливым фоном самой жизни вокруг. Петя сторонился людей этого типа, потому что ничего так не боялся, как отчаяться и

впасть в грех уныния. И на вопросы о его собственном сочинительстве он, как правило, отвечал шутливо фразой подростка Долгорукова, мол, *до чего же развратительно действует на человека всякое литературное занятие...*

Между тем, над Сашей Алферовым начинали сгущаться тучи. Не по диссидентской линии, конечно, на этом поприще никакой активности он не проявлял, но по линии его криминального бизнеса. Уже обыскали и арестовали нескольких знакомых, коллег по ремеслу, а в диване лежала гора непроданных икон, *дров*, как они назывались на фарцовом языке тех лет, и Алферов не знал, куда их девать: держать было опасно, выбросить жалко. И Саша вдруг собрался и уехал в Коми, в Сыктывкар, писать для тамошней филармонии какую-то эстрадную программу с куплетами — была тогда такая практика халтуры для неудачливых литераторов. А жене сказал, что, мол, оставляет ей иконы на прокорм, потому что если что — у нее трое детей, и ее не посадят. То есть он попросту трусливо сбежал, чего Нина никогда ему не простила. Потом он возвращался в Москву, но не задерживался, опять уезжал, жил в Сыктывкаре у каких-то случайных баб, потом, наконец, устроился редактором в тамошнее книжное издательство, завел там новую семью и принялся строить дом на реке.

Петя однажды был у него — проездом. Издательство *Молодая гвардия* командировала Петю в республику Коми писать большой очерк о тамошних вертолетчиках. На вертолетах разных марок — от крохотных МИ-2, берущих на борт человека четыре, до огромных, перевозивших на подвеске трактора и опоры ЛЭП Ми-10

— Петя облетел всю республику, от тайги на юге до кромки Ледовитого океана, *Южный берег*, шутили вертолетчики, имея в виду Арктику. Петя был у геологов, рыбаков, метеорологов, сплавщиков леса, местных милиционеров, охранников лагерей, ездил с торговыми экспедиторами, развозя по дальним поселкам дефицитные на Севере апельсины: система найма машин в вертолетной авиации была точно такая же, как на земле, при заказе тем или иным предприятием на автобазе грузового транспорта. Эти картины Севера, увиденные с высоты, напоминали Пете дух его ранних странствий, только тогда он был экспедиционным рабочим, в лучшем случае лаборантом, теперь — столичным журналистом, командированным центральным комсомольским издательством, и перед ним открывались все двери. А вертолетчики, которым вообще-то говоря был очень неудобен посторонний на борту, потому что по ходу дела они, как городские шоферюги, занимались частным извозом, совершали *левые* полеты, беря попутных пассажиров, подбрасывая, скажем, рыбака с резиновой лодкой для промысла на таежную реку, вынуждены были Петю брать с собой по первому его желанию. Впрочем, скоро они убедились в полной Петиной лояльности, и с экипажем из Ухты Петя даже сдружился, ходил с летунами в баню, в ресторан и по девочкам. В Москву он улетал из Сыктывкара.

Алферов очень постарел. Он жил с молоденькой воспитательницей детского сада на съемной квартире, и быт его был безрадостен. Алферов потерял свое бурное жизнелюбие, жену еле замечал, так подай-отнеси, за ужином скоро мрачно напился и стал со слезой ка-

яться, что бросил Нину с тремя детьми. Петя со страхом ждал, что он разрыдается, когда Алферов вдруг выкрикнул, что он никогда никого так, как Нину, не любил.

— Как она? — все спрашивал он у Пети, но Петя ничего толком сказать не мог. Он был у Нины лишь раз, увидел тот же разор, но помноженный на страшную нищету. Нину он застал изможденной немолодой женщиной, хотя ей было только около тридцати. Единственное, что он мог сделать для нее, это сходить в магазин, купить еды и фруктов детям, выглядевшими неухоженными и запуганными. Да еще выслушать Нинины едкие и горькие слова относительно того, что Алферов почти не присылает им денег, а *дрова*, что он ей оставил для *реализации*, может засунуть себе в зад.

Позже Петя рассказал мне и неприятную историю, что случилась с ним в тот раз в Сактывке. Алферов наутро после их совместных возлияний повез свою молодую жену и Петю на моторке на какой-то остров, поблизости от его строящегося дома, где стояли палаточным лагерем его здешние приятели, уехавшие с женами и детьми на природу *на шашлыки*. Публика эта оказалась довольно неприятной, все мужики — с лагерным прошлым, фиксатые их бабы, шпанистые и неопрятные дети. Когда ближе к вечеру началась пьянка, одна из этих шалав, обпившись водяры, стала довольно откровенно кадрить Петю, не смотря на то, что здесь же был ее муж — мужик немолодой и довольно звериного вида. И когда стемнело, Алферов отозвал Петю в сторону и почти бегом поволок к берегу. Он усадил Петю в лодку, где уже сидела перепуганная жена, и тихо, на веслах отошел от берега метров на пятьдесят. И только потом за-

вел мотор. По пути Алферов объяснил, что будто бы слышал, как этот самый оскорбленный муж грозил ночью *зарубить москвича топором*.

— Он и зарубил бы, — сказал Алферов убежденно, — у них это легко, у них жизнь человеческая и чекушки не стоит...

Через пару лет в Москве кто-то сказал Пете, что Алферов умер от сердечного приступа — ему было чуть больше пятидесяти. Свой дом на реке он так и не достроил. И Петя с горечью подумал, что, возможно, тогда на реке Алферов спас его от смерти, но сам прожил наскоро, начерно, при всем своем стремлении к свободе — несвободно, так ничего толком и не сделав и ничего по себе не оставив, кроме детей, конечно, которые вряд ли смогут, когда вырастут, отца вспомнить. Петя думал об этой еще одной никчемной жизни, что прошла перед его глазами. И, конечно, думал о своей, тоже не слишком складной. *Соловые и белые, каурые и рыжие...*

О Нине Алферовой и ее детях Петя больше ничего никогда не слышал. И вот теперь Маша Дубельт говорит, что она преподает английский этим самым брошенным Алферовским детям в количестве трех штук. И Машу весьма удивило Петино изумление. Потому что оказалось, что жизнь Нины без Алферова сделала неожиданный головокружительный вираж.

К Нине как-то заглянул едва знакомый ей господин, случайный Алферовский знакомый, с целью посмотреть оставшиеся Нине в наследство иконы. Товар, конечно, был дрянь, но сама Нина гостю очень приглянулась. Он оказался бездетный вдовец, мучившийся одиночеством. И он забрал Нину с ее тремя детьми в свой заго-

родный дом, женился на ней, и детей усыновил. Эта святочная история украшена была и тем, что господин оказался очень состоятельным, реставратором антикварной мебели и коллекционером. Как они живут? Маша с удовольствием рассказала. Получилось очень интеллигентное семейство, у них даже домработница — писательница. На отдельном наборном столике справа от камина всегда стоит графинчик с холодной лимонной водкой из *Березки*, холодной базарной телятиной и мочеными рыночными яблоками. Сам хозяин спускается из мастерской к обеду в шлафроке с кистями, обед подает горничная. Дети учатся в английской школе, куда их ежедневно возит шофер в каком-то шикарном авто — Маша не разбиралась в марках автомобилей. Как сама Нина? Прекрасно выглядит, следит за собой, отличная жена, мать и хозяйка. Как ее характер? Приветливый, всегда дарит милые пустячки, угощает кофе с шар-трезом.

Закончу эту историю, потому что всегда приятно рассказать хоть что-то, что счастливо кончилось. Когда роман Пети с Машей Дубельт иссяк — а она исправно приезжала к Пете на протяжении без малого года — Петя часто встречал ее в американском посольстве, где гостям, готовя из них *агентов влияния*, показывали фильмы и угощали виски. В конце концов, она действительно подцепила какого-то американца на скромной консульской должности, вышла за него замуж, отъехала за океан, и следы ее потерялись. Скорее всего, навеки. А ее бывший муж-клоун похоронил мать и женился на еврейской даме-переводчице лет на пять-шесть старше себя. В этом месте Петя как будто с досадой махнул ру-

кой, мол, да что я тебе все это рассказываю. Но после того как я заверил, что история эта очень любопытна, добавил, вздохнув: Митя-клоун недавно тоже умер. От рака.

## **ПЛАЩ РЫБАКА НА БУЛЬВАРЕ ВЕСЬМА ПРИМЕТЕН**

С рыбацким брезентовым плащом, приобретенным, если вы помните, Петей во время нашего с ним путешествия в Тверскую губернию, по пути в деревеньку Колобово, на рынке в районном центре Селижарово, косвенно связана еще одна Петина история. Я уж говорил о наклонности Пети к своеобразному показному дендизму, притом, что в быту он был скромненький, а в частных отношениях сдержан подчас до холодности, шедшей, возможно, от некоторой странной, казалось бы, но имевшейся в нем если не застенчивости, то деликатности. Так вот, шляясь в этом дурацком, на мой взгляд, плаще по Тверскому бульвару, как бы дразня Пушкинское изваяние напротив, по другую сторону площади, Петя и повстречал Эвелину Шарабанову, Элю, как позже он стал ее называть, прогуливавшую там своих детей. Но не все случилось сразу, к этому знакомству привел ряд случайных обстоятельств и череда совпадений, так что здесь опять приходится начинать издалека.

В годы ранней молодости и общежитских романов, когда он еще не оторвался от семейства, будучи сначала студентом, потом тунеядцем, Петя любил посещать места скопления злых заведений на Новом Арбате, тогда — проспекте имени бабушки Калинина. Там в кафе *Метелица*, *Бирюса*, *Ангара* и *Ивушка* его знали и

любили многочисленные легкомысленные бездельные девицы, с которыми он не столько спал, сколько выпивал, болтал, то есть занимался прекрасным московским ничегонеделаньем, предавался как бы чудному сну, неспешному имперскому кайфу, не признававшему ни прошлого, ни будущего, но одну только сиюминутную вечность. Чтобы попасть туда, в эти места достижения нирваны, Петя, коли не спешил и не брал такси, пользовался троллейбусом номер тридцать четыре, который шел по Бережковской набережной в сторону Киевского вокзала. И вот однажды, когда Петя, сидя на заднем сидении, под вечер следовал этим троллейбусным маршрутом, к нему подошла маленькая скромно одетая женщина вполне интеллигентского облика и протянула бумажку с номером телефона. Петя сунул бумажку в карман и тут же об этом забыл, хотя, он признался, когда рассказывал мне эту историю, все-таки не каждый день в троллейбусе к нему подходили приличные женщины и предлагали свой телефон. Так, пялились. И надо ж было такому случиться, что буквально через несколько дней, когда Петя поздним вечером стоял в длинной очереди в Елисеевском гастрономе, который в те годы единственный, не считая магазина на Смоленской площади, торговал алкоголем до одиннадцати вечера, — стоял за *горючим*, как тогда выражались, — та же еврейская женщина, смахивающая не учительницу русской литературы вечерней школы, тронула его за рукав. И спросила, отчего он ей не звонит. Суеверный Петя счел, что это случайная, — не преследует же она его, на городскую сумасшедшую она не была похожа, — повторная встреча, на самом деле никак не случайность,

но *знак*. А к *знакам* следует относиться осторожно, учась их читать, и ни в коем случае нельзя ими манкировать. И Петя поинтересовался у дамы, не могут ли они вдвоем не откладывая испробовать приобретенного напитка у нее по месту проживания. *Легко*, согласилась она, хотя, судя по скромному виду мелкой служащей, ее трудно было заподозрить в бесшабашности. *Безбашенности*, сказали бы нынче.

Внешность обманчива, и с дамой все оказалось совсем не так просто, как подсказывала ее бесхитростная внешность и простодушные манеры. Это была вовсе не обычная немолодая одиночка, отчаявшаяся искать половые впечатления и сама создающая по мере сил возможности знакомств. А уж попасть в ее обитель можно было только мечтать: она жила не только в переносном смысле, но и буквально — в башне, что и объясняло, возможно, ее инициативность — у нее был хороший тыл, вид и интерьер. По порядку: по материнской линии она оказалась внучкой знаменитого советского еврейского комиссара-богоборца, по отцовской — внучкой почти столь же знаменитого архитектора сталинских лет, который и выстроил этот дом недалеко от гастронома. И в специально надстроенной над домом мансарде сделал себе мастерскую и квартиру в виде башенки, где по наследству и обитала Марианна Емельянская, так звали новую Петину знакомую. *Мэри* для простоты, это имя она еще со времен отрочества носила и во дворе, и в школе на Пушкинской улице, где плотно учились отпрыски народных артистов. Ведь ее юные годы пришлось на время повального увлечения Америкой, джазом, брюками-дудочками и широкими галсту-

ками с пальмами, а жила она практически на *Броде*, как именовалась в ее юности улица Горького.

Мэри была старше Пети, но ее миниатюрность несколько скрадывала эти десять, приблизительно, лет разницы. В башне у нее было очень светло и чисто, поскольку деревенская нянька застряла в квартире в домработницах навсегда. Стены гостиной соединялись с прихожей двумя небольшими арками, а простенки были покрыты выцветшей живописью: потускневшее небо, облака, дирижабли, птицы. Спальня была направо. Из окон башни Мэри, как из стратегического пункта, была видна вся Москва, как-то: магазин *Армения*, крыша консерватории, дома на Новом Арбате, кучерявое начало Гоголевского бульвара. Под правым боком ее дома находился к тому же ресторан Театрального общества, бывший в те годы оплотом алкогольного демократизма. И Петя, осмотревшись, решил, что обитать ему здесь будет удобно и уютно. И открыл первую бутылку *Агдама*, подметив с удовлетворением, что живут здесь со вкусом и просто: на закуску ему было предложено единственное яблоко на керамическом блюде явно балканского происхождения, недоеденная шоколадка с орехами и кусок рокфора, засохший до того, что в нем пропала плесень.

Мэри оказалась малопоющей, нежной, склонной к показному подчинению, нетребовательной, и для московского денди, учитывая уникальность ее жилой площади, безмужность и шесть раз выходившую замуж мать, нынче вместе с текущим супругом, тренером по баскетболу, воспитывавшую дочь Мэри от какого-то раннего и тоже удачного брака, это был клад. *Клад*, так

и сказал самому себе Петя. Роман закрутился и растянулся. Петя мог приходить днем и ночью — без звонка, что делал несколько лет подряд. Он наострился водить сюда богемных приятелей, благо это был центр, и бегать за водкой в Елисейский было близко. Приятели все были не только пьющие, но и пишущие, норотившие читать свои опусы вслух, но хозяйка была благосклонна и гостеприимна, поскольку — гуманитарна, переводчица с болгарского и сербского в бывшем *Гослитиздате*. Последнее обстоятельство и оказалось для нее роковым: она стала переводить Петины статьи на второй, почти родной для нее язык братского народа, пристраивать эти переводы в тамошнюю молодежную газету, и время от времени, вернувшись из Софии, передавала Пете рублевые гонорары в конвертах. И вот однажды светлым сентябрьским утром Петя, проснувшись в привычном гнезде, — он, странник, очень быстро обживался на новом месте, — принял душ, оделся, осмотрел с верхотуры превосходный московский пейзаж, ощупал конверт с деньгами в кармане своего рыбацкого плаща и поцеловал на прощанье хозяйку. Поскольку решил, что в это дивное утро ранней осени ему будет полезно с похмелья не посылать Мэри в магазин, но, напротив, приобрести напиток самостоятельно и в одиночестве посидеть на солнышке на лавочке на Тверском бульваре. *Подумать*, называл он такое времяпрепровождение. В Елисейском в тот день *давали* обожаемый Петей сухой молдавский херес, он взял на левый гонорар сразу четыре бутылки — у его рыбацкого плаща были вместительные брезентовые карманы. А потом устроился на лавочке спиной к бывшему Таировскому те-

атру, опохмелился из горлышка, стал доволен, готов к общению и принялся разглядывать проходящих и окружающих.

Неисповедимы наши пути, предначертанные в книге судеб, думал я, слушая очередной Петин странный рассказ. Неисповедимы потому, что именно в этот погожий день именно в это утреннее время худая, вся из углов, как ранняя Ахматова на знаменитом портрете Альтмана, беззубая и немолодая, но умопомрачительная, неотразимого шарма художница Эвелина Шарабанова решила прогулять двоих своих младших дочек от разных мужей на этом самом бульваре: старший сын давно гулял сам по себе. Здесь странность: жила она на Новослободской улице, но, как утверждала позже, *ближе не было зелени*, что неверно, зелень была, скажем, на Божедомке, но там не было бульвара с лавочками, а значит, не могло оказаться и Пети. А здесь он был — на лавочке слева от себя Эвелина обнаружила фигуру замечательную, в большом брезентовом плаще мешком, и этот плащ безусловно гляделся *стильно*; фигура хлестала марочное вино с вполне независимой повадкой, курила, держа сигарету на отлете и вытянув в приличных штиблетах ноги, фигура явного бездельника и шелапута, но никак не хлыща, таким, по мнению разбирающейся Эвелины, и должен быть московский денди. Когда Петя рассеянно взглянул на нее, Эвелина Шарабанова ухмыльнулась беззубым ртом и поманила героя рукой. Так всегда и начинаются самые безнадежные и кружащие голову романы: Петя с радостью решил, что сейчас ему будет с кем выпить и поделиться самыми свежими соображениями.

Для начала он предъявил новой знакомой весомое содержание своих оттопыренных карманов. Эвелина Шарабанова была дамой решительной и принимала решения быстро: она сразу заявила, что сама не пьет, и это оказалось чистой правдой, но зато пьет ее мама, что тоже оказалось беспримесной истиной, и что мама очень любит сухой херес, а также крымский портвейн, потому что является дочерью бондаря из Ливадийских подвалов. И портвейна потребляет много, больше прежнего, с тех пор, как папу парализовало. Она говорила правду с вызовом: мол, да, такие мои обстоятельства, зубы не вставлены, хотите не берите, хотите — принимайте, какая есть. Через полчаса они сидели в огромной Шарабановской квартире, стены которой были завешаны чудовищной живописью хозяйки. Где-то в глубине изредка приглушенно хрипел хозяин. Мать Элелины вышла к гостю в халате, но в жемчужном колье на морщинистой шее, застенчиво *приняла* мелкими неторопливыми глотками бокал хереса, не отрывая губ от стекла, села за беккеровский рояль, что стоял в гостиной, и спела Вертинского, типа *Пани Ирена*, не попадая в клавиши. Второй бокал она забрала с собой на свою половину. Еще через полчаса Петя и Эвелина, весьма довольные друг другом, уже лежали в постели.

Петя и к этой квартире скоро привык. Эвелину, многодетную мать, *за напитком*, конечно, было посылать бестактно, даже не совсем прилично, но магазин и тут был рядом, так что Петя бегал сам: одна нога здесь, другая там. Тут было побогаче, чем в башне комиссаровой внучки. Здесь еще обнаруживались время от времени остатки, осколки салона, который Эвелина держа-

ла в молодости, в виде помятых и некогда модных художников кино, поскольку Эвелина когда-то заканчивала ВГИК именно по этой специальности, никому не ведомых сценаристов, один модный онколог, один естественно-научный член-корреспондент и пара дипломатов небольших стран третьего мира. Попался как-то даже баритон, певший романсы, списанный из театра Станиславского и Немировича-Данченко. Ну это ладно. Примечателен был и сам интерьер. В квартире еще не рассеялись по комиссиям и ломбардам остатки богатой обстановки и сервировки, там и здесь попадалась то супница севрского фарфора, то серебряный бокал с чьим-то вензелем, то позолоченное ведерко для льда и шампанского. Здесь стояли шкафы карельской березы, бюро, смахивавшее на *чиппендейла*, бидермейерский комод, один венский стул с ампирными лапами, кресла красного дерева, наборные столики на изящных кривых ногах, напольные китайские вазы, одна из которых была явно склеена, низкий ломберный столик под зеленым сукном и бронзовые подсвечники, из которых торчали электрические лампочки. Ко всему под высоким потолком гостиной красовалась пестрая люстра мурновского стекла. В будуаре пышное ложе Эвелины укрывал балдахин из китайского шелка с драконами. Здесь во всем была некая надрывная нега, вкус распада империи, щемящий ностальгический запах крушения мира и будто предчувствие грядущего окончательного родового краха. Валяясь днями под шелковым балдахином, Петя тянул крымскую мадеру из богемского стекла, закусывал камамбером с гарднеровской тарелки и читал по настоянию хозяйки то *Жизнь Бенвенуто*

*Челинни, то Образы Италии, то* скучнейшего на вкус Пети Вазари, — хозяйка была италоманкой, бредила мозаиками Равенны, могилой Аттилы, набережными По, галереей Уффици, ватиканскими лестницами, *Пьетой* в малом дворике, виллой Боргезе, фонтаном Треви, мостом Риалто и венецианской лагуной. Подчас ее заносило в фантазиях в некогда опасные закоулки Флоренции, рядом с которой, к слову, много позже она и поселилась в домике с садиком, полным роз. Но это стало возможным, лишь когда она похоронила родителей, потеряла старшего сына-наркомана, грохнулась империя, и она смогла хорошо продать свою роскошную квартиру. А пока здесь нежился Петя, которому выдали даже бухарский потертый халат, чтобы удобнее было ходить по нужде в туалет в даль полутемного коридора.

Иногда они предпринимали вдвоем ностальгические для Эвелины прогулки по Москве. Однажды ранней весной она привела Петю к мрачному серому дому на набережной Москва-реки, глядевшего слепыми окнами на клубящийся паром котлован из-под снесенного некогда храма Христа Спасителя. Петя знал многие инквизиторские легенды с этим домом связанные, потому что некогда квартировал здесь у одной актрисы, дочери знаменитого адмирала, тоже квартире немаленькой, но меньше Эвелининой, и по утрам с ее пожилой мамой-красавицей, тоже актрисой, тайком от подруги, которая страшилась маминой слабости к холодной *Столячной*, украдкой опохмелялся на кухне.

— Сюда мы вернулись из эвакуации, — сказала задумчиво Эвелина, — но бывших соседей никого не осталось. Все новые люди...

Они вышли на набережную, перешли через мост, постояв над уже вскрывшейся рекой, глядя на грязные льдины, медленно тянувшиеся вниз по течению по воде, покрытой радужными мазутными пятнами. То тут, то там по берегу стояли рыбаки, пытавшие выудить из этой грязи невесть какой улов. Они прошли под кремлевскими стенами и свернули на Красную площадь. У Мавзолея очереди к мумии в тот день не было, *санитарный день*, но часовые-манекены стояли на местах.

— А здесь мы с нянькой в сорок третьем получали продуктовый паек,— сказала Эвелина и указала на незаметную дверь справа от часовых.

Петя удивился и встрепенулся: *как так?*

— Папа был во время войны заместителем министра здравоохранения и входил в комиссию по эвакуации тела Ленина в Куйбышев, — объяснила она тоном свидетеля истории, передающего свои знания молодым. — И паек вернувшимся в Москву членам семьи давали прямо вот здесь. Выходил солдат, выносил пакет...

— По месту работы родителя? — уточнил Петя.

— Именно так, — усмехнулась Эвелина, витая в воспоминаниях.

И Петя посмотрел на нее благоговейно, потому что через нее он не только узнавал итальянские искусства, но приобщался тайнам советской истории. Собственно, очень многое из того, что он знал, помимо того, что дала ему семья и книги, он черпал именно у своих женщин, и это были весьма разнообразные и многосторонние познания. Не говоря уж о многих полезных навыках. Кое-что дала, конечно, и его специальная школа,

немного лекции на факультете журналистики, но главные Петины университеты располагались во многих и многих дамских постелях, расставленных там и сям по его родному городу...

Этот роман закончился некрасиво, мне пришлось выуживать у Пети подробности, я как будто предчувствовал, что все эти детальные Петины рассказы мне понадобятся, хотя, конечно не мог знать, когда и при каких обстоятельствах. По Петиным словам выходило, что однажды Эвелина с сияющим лицом торжественно объявила, что вечером у *них* будут гости, причем не совсем рядовые. Это сияние Петю насторожило заранее. Она нарядилась в черное платье, отделанное черным тонким кружевом, что только усилило Петины подозрения. Попросту говоря, догадываюсь, Петя заранее стал ревновать, хоть и утверждал всегда с подозрительным жаром, что ревность — чувство подлое и низкое, для мелких людей. Гостями оказался довольно известный и богатый в те годы советский сценарист, явно косивший под Цыбульского, та же курточка, те же длинные темные спутанные волосы, те же темные очки, и пятилетняя кроха, его дочь. Сценарист и Эвелина были на *ты*, с многими общими знакомыми и, кажется, с общими воспоминаниями. Короче говоря, еще до начала главного аттракциона Петя уверился, что они — бывшие любовники. Аттракционом же была именно крошка-девочка, которую почти тут же усадили за рояль. Она оказалась вундеркиндом, которого тщеславный отец водил по московским домам на показ. Это был пухленький ребенок с не до конца еще осмысленным взглядом, в пышном голубеньком платьице. На концерт

собралась вся семья: вполпьяна мамаша Шарабанова, сама хозяйка, обе ее дочери. Было что-то извращенное, неуловимо патологичное в том, как малышка своими маленькими пальчиками, когда ее взгромоздили на подушку и придвинули стул к роялю, заиграла фуги Баха. Оказалось, сам сценарист, не знавший нот и никогда не притрагивавшийся к инструменту, обучал музыке свою дочь *по собственной методике*, о чем он тут же и заявил.

— Так, Юля, теперь Шопена,— крикнул он, и девочка испуганно сжалась. Она взяла какую-то ноту, но со страху видно ошиблась. —Шопена, я сказал,— заорал папаша.

Последовал Шопен. Петя взглянул на умиленное лицо Эвелины, такого выражения на этом лице он никогда не видел. Сценарист Петю самым естественным образом не замечал, и Петя обиженно понимал, что сейчас он тут лишний. Но двинуться с места не мог. Он должен был что-то сделать, но еще не знал, что он делает. Эвелина вдруг перегнулась к нему и тихо жеманно спросила:

— Петр, что вы такой хмурый? Вам не нравится?

— Молчи, еб твою мать, — заорал сценарист.

Что ж, он оскорбил Петину любимую женщину у него на глазах. Петя подошел к сценаристу и со всей силы, на какую был способен, дал ему в морду. У того была отличная реакция — позже выяснилось, что в молодости сценарист занимался боксом. Он коротко и очень сильно ударил Петю в скулу слева, тот бросился на него, а поскольку Петя был выше, больше и тяжелее, он смял противника, и они покатались по ковру, сцепившись.

Они сшибли одноногий наборный столик, опрокинули напольную вазу, но та не разбилась, отчего-то. Они подкатились уж под самый рояль, когда девочка завизжала отчаянно, перекрывая крики Эвелины *мальчики, ну, мальчики.*

— Отпусти, блядь, отпусти же, — прорычал сценарист, услышав визг своего ребенка. И Петя отпустил его, разжав свои объятия. После чего Петя, ни на кого не глядя, проверяя языком во вспухшем рту качающийся зуб, облачился в свой рыбацкий плащ. Перед тем, как покинуть дом Шарабановых, он подошел мамаше к ручке, потому что она в отчаянии протягивала руки к своему единственному собутыльнику. И вышел, ни с кем больше не прощаясь. Через пару лет они столкнулись на какой-то выставке, и Эвелина обворожительно улыбнулась Пете. Зубы она так и не вставила.

### **НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ НЕ СТОИТ ЛЮБИТЬ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ**

Петя терпеть не мог того, что называется *крепкое мужское рукопожатие*. Отнюдь не потому, что был слаб, но потому, что его раздражала профанация ритуального жеста: рукопожатие должно говорить лишь о том, что в руке у тебя нет стилета или ножа. По видимому, у Лени пожатие руки было именно таким: открытым и дружеским, и это отсутствие демонстративной простонародной попытки сразу же закрепить свое превосходство подкупило Петю. К тому же, это был случай предпочитаемого Петей соотношения возрастов: Леня был старше Пети лет на десять, а значит, Петя мог,

сохраняя за собой инициативность младшего, считать Леню старшим братом, какового у Пети никогда не было. Сосед оказался замкнутым, застенчивым, наверное, человеком, но Петина доброжелательность и простота растопили лед. Не сразу, правда.

Они, соседи, сошлись, как и бывает между новоселами, на почве обустройства своего жилья. Потом оказалось, что Леня — журналист. Правда, бывший, но закончивший тот же факультет, вечернее отделение, шестью годами раньше Пети: до университета он послужил в армии, подвизался на заводе. Нашелся и общий знакомый: бывший Петин ответственный секретарь, который обучался одновременно с Леной чуть не в той же группе. Нынче Леня, устав от не тучных журналистских хлебов, работал директором небольшого продуктового магазина, что тоже показалось Пете, лишенному социальных предрассудков, хоть и экзотичным, но милым. Поскольку скоро выяснилось, что Леня — человек душевный и деликатный, к нему не зазорно и нетрудно было обратиться с просьбой, он помогал Пете радостно, сам же наотрез отказывался от Петиных услуг, приходилось их оказывать исподволь.

Когда мы с Петей только обустроивались в Колобово, Лени *на даче*, как он неизменно называл свою деревенскую избу, не было, поэтому я его и не видел. Но Петя многократно, прежде чем переселиться на другой берег, наезжал в Колобово самостоятельно, готовился к переселению, и они познакомились по-соседски, исправно выпивали и однажды даже ходили на охоту — на уток. Если можно, конечно, так назвать довольно дилетантское предприятие: они собрались как-то по утру,

надели сапоги и пошли краешком болота, причем Петя был безоружен, а Леня держал в руках двустволку, которую одолжил ему какой-то знакомый. По их понятиям утки должны были гнездиться именно здесь, в верховьях Бойни, но это было сомнительно, лёт давно кончился, и утки, понятное дело, еще в мае улетели дальше на север. Так вот, Леня и вызвался помочь Пете переправиться, потому что тот торопился привести в порядок свое новое жилье — он уже все оформил и заплатил в этой самой Вязовне, куда переехали бывшие хозяева дома в Польках. Торопился из соображений романтического толка, как я уж говорил, в видах, так сказать, семейных: помните вдову с ребенком. Машину Петя оставил у Лени во дворе, запер баню и избу, и они отправились.

Как на экране вижу картину этой переправы. В широкую дощатую плоскодонку было погружено *только то, что понадобится*. А именно: старый холодильник *Саратов*, рабочее кресло, изваянное мною из бруса для Пети в наш с ним приезд. А также инструменты, продукты, минимум одежды, ну и кое-что для баловства — пляжный шезлонг, скажем, надувные матрасы. Леня поплыл вместе с Петей, поскольку должен был перенести лодку обратно, чтобы вернуть ее хозяевам — на этом рыбном озере у каждого местного жителя лодка всегда должна была быть под рукой, потому что рыба здесь была важной статьей семейного прокорма. Поэтому, когда они добрались до Польков и разгрузились на берегу, Петя тут же отправил Леню обратно, уверяя, что дальше *он все сам*.

Избенка оказалась той же конструкции, что и в Колобово, только еще меньше. Но место, как убедился лишний раз Петя, действительно было даже не привлекательным, но сказочным: заброшенностью, уединенностью, дикостью окрестной природы, стихийной бурностью растительности от близости озерной и болотной воды, повсеместным цветением и благоуханием. И Петя освоился очень быстро, за три дня. Он сам вымыл и выскреб избу, постелил даже купленный у деревенской соседки в Колобово половик, вязаный зимой из цветных тряпок. Переставил на свой вкус нехитрую мебель, радуясь и длинному обеденному столу в *горнице* с массивной столешницей, отструганной до блеска и отполированной долгим пользованием, и крепким лавкам и табуретам, все деревенского изготовления. В углу стоял и народного местного стиля самодельный платяной шкаф с масляной краской нарисованными неясной ботанической принадлежности цветами на дверце. Петя затопил голландку, она почти не дымила, а вот русская печь не тянула, скорее всего, у нее был завален дымоход. Но избенка была крошечная, одной печки летом было за глаза довольно. Светило электричество, и скоро в сенях зарычал старенький *Саратов*, которому не хватало одного амортизатора. Петя испытывал самое сладкое состояние, какое можно испытывать в жизни — предчувствие счастья.

Шла первая половина июля, лето выдалось солнечное, во дворе гудели шмели, на берегу, — Петя упорно называл *пляжем* эту полосу дивного белого песка, — не смотря на пекущее солнце, было прохладно от близости озерной воды. На второй день Петя изучал

книжку Бояджиевой о народном театре, сидя в шезлонге в купальных трусах и в панаме, и неожиданно стал свидетелем пасторальной сцены, которая его поразила. Среди дня, когда Петя уж готовился идти в избу, чтобы съесть свой нехитрый обед, а заодно пропустить пару рюмочек за новоселье, за его спиной раздалось негромкое фырканье. Мимо него неспешно прошла лошадь, подошла к берегу, окунула морду в воду, задрав отчего-то хвост. Она стояла совсем близко, и Петя увидел продольную черную складку ее вагины. Крайне удивившись самому себе, он почувствовал признаки возбуждения. Тут за его спиной раздалось громкое трубное ржание. За оградой из колючей проволоки, которая отделяла просторный выгон от улицы, ржал молодой жеребец. Он явно звал подругу, которая хоть и прядала ушами, но не оборачивалась. И тут жеребец ринулся вперед с громким победным ржаньем и грудью со всего маху порвал и смял колючую проволоку, завалив заодно хлипкие столбы, но которые она была натянута. И, с окровавленной грудью, ринулся к подруге. И тут же они скрылись за кустами ив. Петя, ставший свидетелем этой сцены страсти, был поражен накалом лошадиной любви, которую наблюдал с завистью. Через три дня, как они и сговорились, Леня приплыл за приятелем, чтобы перевезти его обратно. Но только через год, на следующее лето Петя привез в Польки свою новую возлюбленную-вдову, экономиста по основной специальности и, кажется, кандидата наук. Она весь год исправно приезжала в его холостяцкую квартиру, снабжая Петю продуктами, почерпнутыми из родительского холодильника. Как это ни смешно, и у этой папа был

полковник строительных войск, причем на генеральской должности: Петя оставался верен себе.

В деревню Польки вдова приехала не одна, но прихватила свою шестилетнюю дочь, очаровательную, сероглазую, с льняными волосами, очень сообразительную, какими зачастую бывают сироты и брошенные дети. Звали ее амбивалентно — Евгения. Женя. Женечка. Петя решил, что на свежем воздухе полюбит ее: в Москве они почти не виделись. К тому же еще в машине девочка так нежно и доверчиво склонялась к нему, клала голову на плечо. Позже, когда он, наконец, рассказал мне об этом лете, о своей семейной жизни и любви, меня крайне заинтересовало, отчего вдруг Петя, всегда бывший педофобом, так сказать, произносившим всяческие филиппики против деторождения, тогда вдруг так размяк на пустом, как мне казалось, месте. *Ты не понимаешь, не слишком убедительно на мой взгляд, но очень раздраженно отбрехивался он, это совсем разные вещи. Мои гены здесь больше никогда не понадобятся. И сейчас никому не нужны. Так отчего же это, после того как здесь у моей семьи все отобрали, дедушек поубивали, я должен ИМ отдавать свой генетический материал. Чтобы они из него сделали солдат, заключенных и женский контингент. А здесь уже готовая девочка. Думаю, дело было проще, Петя в тот период в очередной раз притомился своим холостячеством и пленился иллюзией семейной жизни.*

В тот раз больше ничего из него выжать не удалось. Но позже, когда он уже вернулся из Америки, я все-таки добился от него объяснений: ведь я имел право знать, во что вылилась афера с покупкой второго деревенского

дома, в которую был вовлечен без всякого на то желания. И Петя дал ряд показаний о том, что же происходило в то лето в деревне Польки. И отчего все так резко оборвалось. Сначала, впрочем, он, ухмыляясь, заявил, что просто-напросто *слишком часто случались контроверзы*. А в чем все-таки было дело, пытался скрыть. Но потом мало помалу проговорился и набросал более или менее подробную картину. *Я повторял себе, что нужно быть более снисходительным*, произнес Петя несколько раз, задумался и закурил *Кэмел*. Впрочем, не похоже было, что он о чем-то сожалеет.

— Аллах любит терпеливых, — прибавил Петя.

Наверное, это была какая-то пословица. Но я посмотрел на него с удивлением. — Причем здесь Аллах?

— Это из Корана, — усмехнулся Петя. — Сура третья, стих сто сороковой. Из Мединских сур.

Когда, когда Петя мог читать Коран? Не со своими же женами и вдовами, дочками военных, в Америке, что ли. — Ну, прочти еще что-нибудь, — потребовал я, желая подловить друга на подлоге.

— И кто богат, пусть будет воздержан, а кто беден, пусть ест с достоинством. Вполне современно звучит, не находишь.

— Еще! — стоял на своем я.

— Но только, если после этого ты от меня отстанешь. — И он продекламировал, почти пропел, как муэдзин:

*Клянусь смоковницей и маслиной,  
И горой Синаем,  
И этим городом безопасным...*

Я смотрел на Петю с благоговейным страхом. Быть может, дикари Явы некогда так смотрели на белых голландцев, когда те доставали табак и раскуривали трубку. Когда б он цитировал Евангелие — куда ни шло. Но Коран? Впрочем, у Пети была феноменальная память...

Петя привез свою, так сказать, новую семью в самом начале августа, и вода в озере была еще очень теплая. Привез не пару недель, пока *Илья не бросит в воду льдинку*, что по народной примете происходит на Преображение, то есть на Яблочный Спас, когда в русских храмах святят урожай. *Шестое августа по-старому*, добавил Петя. Жили тихо: пили по утрам холодное, вечернее очень жирное парное молоко, предварительно сняв сливки, которое покупали у единственной здесь относительно молодой хозяйки, собирали белые грибы в ближайшем леске, по вечерам за большим столом пили-ели, к вечеру топили печку, потом втроем играли в *дурака*. Петя почти всегда проигрывал, женщины играли лучше, к тому же девочка довольно умело жульничала — даром, что еще даже в школу не ходила. Дамы собирали букеты полевых цветов. Женечка каждый день писала дневник — для бабушки, и когда Петя через два года вошел в опустелый, разграбленный дом с тем, чтобы больше никогда сюда не возвращаться, он нашел эти листочки с детскими каракулями и цветочками на полях: *бабушка, мы живем харашо, Петя топит печку*. И сентиментальный Петя *испытал резь в глазах*, как он потом мне рассказал. Больше он там не бывал, вплоть до того, как узнал, что его избенку раскатали по бревнышку. Но это было позже, когда Петя, воодушевившись нахлынувшей свободой, к чему, впрочем, он

относился довольно иронически, сделал еще один заход в средства массовой информации: я еще скажу об этом...

Здесь опять возникает тема лодки. Ее Пете выдали на неделю, и день на шестой он решил перегнать ее обратно в Колобово, потому что день был безветренный и очень теплый, а обратно вернуться вплавь: озеро было широким, но Петя отлично плавал. Он отправился после завтрака, сказав вдове и ее девочке, что, конечно же, не собирается ночевать на том берегу и к ужину будет непременно. Но, как это обычно и бывает, когда Петя был уже на середине озера, задул ветер, небо закрылось тучами, грести приходилось под углом к течению, и только дорога до другого берега заняла у него часа полтора. А ведь еще нужно было *пройти* весь залив, но здесь было тише, и грести стало много легче.

Петя причалил, вытащил плоскодонку на берег, отнес весла хозяевам, завернул к Лене. Он застал своего приятеля в прекрасном расслабленном настроении, навеселе, и гостю Леня очень обрадовался. Дело в том, что его посетила дама по имени Нина, служившая кассиршей в его же магазине, и в эту самую Нину Леня был отчетливо влюблен. Помимо водки, ящик которой стоял в избе у печки, на столе были соленья, селедка в маринаде, картошка в мундире в деревянном чугунке и гора свежих котлет, которые приветливая Нина наготовила. Петя был усажен за стол, бурно угощаем, хозяин лучился радостью. Нина все время улыбалась, показывая золотой зуб с левой стороны рта, отчего ее улыбка было только задорнее, пили стограммовыми гранеными шкаликами, приближение сумерек Петя не заметил, по-

сколько все пытался не объесть хозяев, но домашние котлеты были так хороши, что Петя, после того, как неделю питался тушенкой, не мог сдержаться. И ел все, что ему гостеприимно подкладывали. Сытый, пьяный, радостный счастливой радостью хозяев, Петя, наконец, взглянул на часы — было около одиннадцати. Надо было плыть. Его, конечно, отговаривали, *мы тебе постелем, сами мы на печке*, но Петя был непреклонен: *мои будут очень волноваться*, твердил он. Сердобольные хозяева проводили его до берега — это было не близко, нужно было перейти поле, найти проход к воде в непролазных кустах. Нина по-бабьи запричитала, когда они оказались на берегу, освещенном луною. Петя расцеловался с хозяевами и поплыл.

Русло проходило близко к этому, правому, берегу, и уже метрах в пятидесяти течение было довольно сильным. Нужно было все время брать левее. Как раз когда Петя почувствовал, что пересек русло, в небе громыхнуло, и вдруг, как из опрокинутого ушата, хлынула с неба вода; прогремел первый близкий гром. Молнии вспыхивали то и дело, освещая блицем бескрайнюю темную воду впереди. Петя несколько протрезвел, оценив ситуацию. Лил холодный по сравнению с теплой озерной водой дождь, гроза, казалось, нависла над озером. Но зато стих ветер. Кругом громыхало и полыхало. Петя, для того чтобы не сбиться с ритма своего браса, решил декламировать стихи. Но его движения не ложились в размер. В тот год следом за Ленинградом Москва, наконец, прочитала книгу об этногенезе сына двух поэтов, и Петя в такт своему брассу стал выкрикивать имена древних степных племен. Вдох, толчок впе-

ред, голова над водой — хунны. Еще вдох, руки вперед — кыркызы. Тюрки, уйгуры, кипчаки, гузы, гебры-огнепоклонники, сарматы, карматы, таджики, хазары, парфяне, туранцы, кушаны, дейлемиты, гирканцы... Петя иссяк на юечжах. Он попытался спеть песенку, которую посвятил автору-пассионарию Хвостенко:

*Ах, ты, полустепь, полупустыня,  
Все в тебе смешались времена , —  
и чуть не захлебнулся.*

Петь не получалось. Петя перевернулся на спину и почувствовал, что слабеет. На том берегу, куда он плыл, не было видно ни огонька. Да и самого берега видно не было, и Петя не мог определить, сколько он уже проплыл, и сколько ему осталось. Становилось холодно. Лежать на спине было нельзя: во-первых, его тело явственно сносило течением, во-вторых, нужно было двигаться. Двигаться и чем-то отвлечься, чтобы движения выходили автоматическими: о самых усилиях тоже нельзя было думать. И Петя решил, что будет думать о театре. Тогда-то ему и пришла удивительно простая и отчетливая мысль о том, что театр, некогда развившийся из ритуала, причем из ритуала погребального, всегда и всюду представляет на сцене живых мертвецов. В новой драме это, скажем, *Смерть Тарелкина* или *Наш городок*. Петя вспомнил, что читал где-то и фразу Жана Жана на эту тему, что-то вроде того, что *Театр должно поместить как можно ближе к погосту, воистину в оберегающей тени места, где стерегут мертвецов*. И Петя сказал себе *вот именно, именно стерегут*. . И понял, что дыхания не хватает, что обмякли руки, и что, по всей вероятности, сейчас он примется тонуть. Ноги

опустились вниз и, как в дешевой комедии, Петя нащупал дно. И встал — воды было по грудь. Буря не прекращалась. Этот берег был очень пологим, и Петя шел, еле волоча ноги по вязкому донному илу, бешено отмахиваясь от каких-то водорослей, зловеще все пытавшихся уцепиться за его тело. Идти оказалось не близко, и эти последние полторы сотни метров показались ему сущей пыткой.

Дождь не унимался, и обессиленный Петя рухнул, наконец, на сырой песок. Шансы насмерть простудиться были велики. Нужно было срочно выпить водки и очень горячего крепкого чая. *Конечно, они сидят в доме... что ж им под дождем меня встречать... и ждут... и чай догадались поставить*, неразборчиво думал Петя, когда, шатаясь, добрал, наконец, до крыльца.

Дверь было не заперта, хотя сам Претя всегда запирает ее на ночь. Свет нигде не горел — ни в сенях, ни в комнате. Невольно стараясь не шуметь, Петя вошел в избу и скорее почувствовал, чем услышал, что в темноте мерно дышат два существа: мать и дочь, они спали вдвоем на одной кровати. Они не ждали его. В отблесках молний Петя рассмотрел чайник на столе. Дотронулся, чайник был холодный. *Вот тогда все и кончилось*, закончил свой рассказ Петя.

— Но почему? — спросил я. — Ну, заснули, ну, решили, что ты не придешь...

— Что я утонул, да?

И, помолчав, добавил, вдруг улыбнувшись: *они были не те*.

Позже, через много лет Пете случаем стало известно, что девочка Женя выросла, окончила экономиче-

ский факультет, стала менеджером в рекламной фирме, занимающейся продвижением марки *Мальборо* на российский рынок. Что ж, судя по всему, у нее с молодых ногтей были такого рода способности. А вот что стало с вдовой не совсем ясно. Говорили, что она так и не вышла замуж, а работает по культурному ведомству, в монастыре, сад которого полон цветов и плодов. Нет, она не стала послушницей, конечно, но проводит дни свои за монастырскими стенами, заведя советских лет еще этнографическим музеем, который монахи все никак не могут из своей обители потеснить.

### **ВЕРНУВШИСЬ С ТОГО СВЕТА, ПОПАДАЕШЬ В ДРУГУЮ СТРАНУ**

Одиннадцать часов полета, считая часовую посадку на Шпицбергене, Петя потихоньку тянул виски, приобретенный в дьюти-фри в Шереметьево, и слегка нервничал. И не только понятным волнением от скорого столкновения со *свободным миром*. Московские таможенники сделали все, чтобы испортить ему дорожное настроение. Они сказали Пете, что американская виза, поставленная в посольстве в Москве, *неправильная*. И выпустить-то они его выпустят, но вот в Америку его не впустят. И нельзя сказать, что у Пети была такая уж голубиная душа. Но и у него поднялся снизу живота страх, въевшийся во всех нас, готовность к любой подлости со стороны родного государства. С колотящимся сердцем, дрожащей рукой Петя в аэропорту *Джон Кеннеди* Вашингтона протянул свой паспорт здоровенному негру-

пограничнику. Тот небрежно пролистал ксиву и улыбнулся во весь сахарный рот:

— Welcome to America, sir!

Приглашение в мормонский университет Джордж-Таун читать лекции о Достоевском спроворила Пете та самая закадычная американка-славистка, чей виски мы некогда распивали с Петей в его одинокой квартире. Причем приглашение было оформлено на целый год при визе В-2, то есть с разрешением на работу. Рабочих у Пети было только два месяца. Но он проболтался еще два перед тем, как в половине августа я поехал встречать его в аэропорт.

Получив приглашение, до последнего момента Петя не верил, что его выпустят из страны Советов. Говорил же ему кагэбэшник на допросе: *вам, голубчик, не видать Запада как своих ушей, об этом мы позаботимся*. Они промахнулись: волна эфемерной недолгой свободы подняла голубчика и выбросила на атлантический берег, на реку Потомак. Здесь на речной волне недалеко от Independent, на которой Петя снял себе жилье, bedroom, living room, half of bathroom, покачивался дебаркадер с баром, где Петя по утрам принимал margarita — серебряная текила, апельсиновый ликер, лимонный сок, мелко толченый лед, соль по краю бокала.

Баба в ОВИРе запомнилась Пете. Размерами и простодушием завзятой взяточницы. Когда она протянула Пете первый в его жизни заграничный паспорт, фыркнула:

— Всё за границу едут, а в ресторан никто не приглашает.

Баба была молодая, налитая, скорее всего, горячая. Не будь Петя без пяти минут американец, он бы позвал ее в ближайшую распивочную, а там уж, познакомившись поближе, сообразил бы, как быть: простонародного вида чиновницы всегда волновали его. Петя рассказывал как-то, что его мечтой со школьной юности были молодые милиционерши, стоявшие при входе в Ленинскую библиотеку. По-видимому, эффект разоблачения их из служебной формы мог бы стать стимулирующим моментом: под формой же у них, скорее всего, было все то же, что у всех. Но прежде этого было другое: они несли прелестную провинциальную дичь, в них было обаяние первобытности, прельстительность одичания....

В полете Петя лишний раз пролистывал том Достоевского. Он решил, что самым выигрышным предметом для чтения лекций американским слависткам — он помнил остроту из *Пнина* об Анне Карамазофф — будут *Бесы*. В этом выборе Петя учитывал текущую политическую конъюнктуру: как никак в родном СССР наконец-то свергли социализм, развалили Берлинскую стену и достигли всегда вождяленного состояния русского социума, которое большевики характеризовали, как *грабь награбленное*. Еще точнее характеризовали это вечное народное опьянение собственным и окружающим бесправием русские умные люди еще в предыдущем веке. Карамзин говорил кратко: *крадут*. Позже Витте в мемуарах высказывался еще красочнее: *кто может грабит, кто не может ворует*. Петя сразу обратился к третьей части романа, именно в ней, он помнил, для него содержалось много поживы. *Но нет, этого они ни-*

когда не поймут, думал Петя, читая восхитительное восклицание Петруши Верховенского:

— Уже кругом разврат, дети пьяны, матери пьяны, все готово: о, дайте взойти поколению!

Вот в его же, Петруши, изложении беглый очерк щигалевщины, возможно, подойдет: «Каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве вольны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей. Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда возвращают более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят... Рабы должны быть равны; без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства». И это было написано, когда Ленину было три года от роду, а Сталину еще только предстояло выйти из чрева матери через семь лет. Впрочем, Щигалев, возможно, вдохновлялся Платоном или Макиавелли.

Петя отглотнул еще виски и подумал, что ничего, совсем ничего не знает о молодых американцах. Ну, если отбросить внутривидовое сходство с нами. Скорее всего, Достоевский там интересен лишь постольку, поскольку надо сдать экзамен или защитить диплом. *Их изгоняют или казнят*. Ну, быть может, они и слышали о Солоне или Сократе, о Галилее или Копернике. О Джордано Бруно или о Яне Гусе. О последнем — вряд ли, но знали же они имя Сахарова, в честь которого го-

род Горький переименовали в город Сладкий. И вряд ли они знают о русском знаменитом *философском пароходе*, отправленном некогда к берегам скандинавским. Причем, это было проявлением гуманизма: ЧеКа с удовольствием всех этих умников перестреляла бы. *Как куропаток*. Или отправила бы на Соловки: Флоренский, скажем, на этот борт опоздал и отправился на монастырский остров...

И здесь Петя почувствовал, что или надо перестать пить или, напротив, выпить еще, потому что слезы стыда за отечество и за прочее человечество наворачивались на глаза. Ведь это было не просто избавление от сотни инакомыслящих, это была чистка генофонда, удаление из страны тех самых *высших способностей*. И Пете впервые пришла в голову мысль, что он ведь может *остаться* в стране равных возможностей. И он содрогнулся при этой мысли, хотя еще не повстречал на американских чужих берегах эмигрантов и еще воочию не удостоверился, что нет ничего худшего, чем изгнание, тем более — самовольное, и не может быть на свете горше наказания, чем разлука с родиной навсегда. На этом месте своих чувствований Петя и впрямь проследил, выпил, захлопнул том, посмотрел в иллюминатор. И опять заставил себя испытать прилив восторга: он первый раз в жизни ступит на берег страны, лежащей в *антиподах*. Как Одиссей...

Уже при первых шагах по заокеанскому континенту Петя задохнулся от удара чистого воздуха. Это был воздух иной консистенции, чем воздух русский, может быть, с иной даже химической формулой. Этот воздух возбуждал. И пока его знакомая везла его в машине в

город, Петя все дивился, как же может быть так чисто там, где живут, жуют, оправляются люди, где тоже идут дожди, и сырая земля должна же вылезать наружу сквозь мытый асфальт. Впрочем, тогда Петя еще ничего не знал о грандиозных помойках, видных из окна экспресса am-track, когда он подъезжает к Нью-Йорку.

Его знакомая подыскала Пете на первые дни, пока он не найдет постоянного жилья, очень симпатичную старомодную гостиницу: крохотный номер, душ в коридоре, завтрак — в ближайшей закуской. Все казалось забавным, прежде другого американский английский, который было возможно разобрать, только сильно вслушиваясь — так говорят по-русски люди из южных областей, с акцентом и многими неологизмами. Очарователен в своей наивности был музей здешней живописи на The Moll: ковбои в прошлом веке писали маслом ровно так, как русские провинциальные самоучки. В музее воздухоплавания Петя испытал прилив патриотизма: все, что было ценного в истории американской авиации, придумал наш Сикорский. Даже кормили в ближайшей закуской приблизительно так, как привык питаться Петя: утром он съедал *santry brekfast*, как именовалась глазунья с картошкой и ветчиной. Ну, и стакан апельсинового сока. От здешнего кофе Петя в первый же день отказался: это был *напиток туриста* из Петинной юности — какие-то толченые бобы с цикорием.

В первый же день Петя попал на грандиозную демонстрацию гомосексуалистов, когда гулял *между Джеферсоном и Капитолием*. Это было откровенно глупо: гомосексуалисты требовали от правительства денег на лечение их венерических заболеваний. Но посте-

пенно Петя стал убеждаться, что под мощным слоем *демократии* и хлама в Америке есть нечто ценное, не больше, быть может, чем в России, но есть все-таки, хоть и отравленное воинствующим эгалитаризмом и довольно дикими предрассудками, которые здесь было принято называть *политкорректностью*. Скажем, белых можно было называть белыми, но евреев евреями — не рекомендовалось, а уж черных назвать черными, вопреки очевидности, было никак нельзя. Не говоря уж о слове *негр*. И никак было не понять русскому Петиному уму, отчего черным здесь больше нравится именоваться афро-американцами, как если бы его, Петю, кто-нибудь принялся бы кликать евро-русским. Возможно, это была бы не обидная кличка, но странная. В Америке сказать негру, что он — негр было то же самое, что в России сказать инвалиду, что он инвалид. То есть их естественный, часто очень красивый, иногда шоколадного отлива, иногда оливкового, цвет кожи самими афро-американцами по умолчанию воспринимался как дефект, как некий недостаток, если не уродство. А ведь еще два десятка лет назад было громко спето *Say it loud: I'am black And I'am Pround*. И было еще много запретов, никак не вяжущихся с декларируемой на каждом углу личной *свободой*: там нельзя пить, там — курить, там — громко говорить. И наоборот: среднему классу нужно было бегать трусцой, не иметь живота, в день выпивать по четыре литра воды. Нельзя есть *fast food*, хотя все его только и едят, нельзя выделяться, по будням — костюм, по воскресениям — шорты, нужно быть как все, как коллеги и соседи, немислимо, не пропустить день уборки листьев или уборки снега, иначе

соседи по улице не позовут на party на Cristmass. Положено любить звездный флаг и знать слова гимна, но не положено ездить на подержанном автомобиле, если ты получаешь больше шестидесяти тысяч в год, нужно брать кредиты и жить в долг, ходить по воскресеньям в церковь и на концерты Ростроповича. Короче, Петя скоро стал подозревать, что нет на свете народа более не свободного, чем американцы. И что вольно дышать здесь можно, только если ты черный gandicap, лучше женского пола, еще лучше — лесбийской ориентации: на этом поле начинает работать протестантское милосердие и тебя, умиляясь, кормят бесплатно.

И еще Петя убедился в вопиющем ханжестве этого общества. В свой университет ему приходилось ездить или на автобусе, или на такси, потому что обитатели Джорж Тауна однажды единогласно проголосовали против того, чтобы к ним подвели метро. Выяснить — отчего было сложно, но рано или поздно Петя узнал: чтобы к ним в их белый, румяный и умытый, район не ездили бездомные и безработные негры, у которых не было машин. То есть эти подтянутые и интеллектуальные либералы, все как один политкорректные, по субботам ездившие в клубы слушать негритянский блюз, в быту были обыкновенными обывателями и расистами.

Но вот что было в Америке по Пете: здесь принято было думать. У Пети в юности был приятель-поэт, женившийся на девушке-модели. Она целыми днями пропадала на показах, приходила измотанная и заставляла мужа в том же положении, что оставила утром: лежащим на кушетке. Она била его по морде, он спрашивал *за что*.

— Ты же ничего не делаешь! — восклицала супруга.

*Я же думаю*, отвечал побитый муж. Думать в России никак не считается занятием, но в Америке за это платят гранты и профессорские зарплаты. Непостижимым образом прагматичные американцы поняли, что из размышлений можно извлекать пользу: в России это соображение недоступно. Возможно, по бедности.

Студенты оказались серьезными и готовыми за ту плату, что их родители вносили за ученье, сосредоточено учиться даже Достоевскому. Правда, Петин двухмесячный семинар состоял лишь из четырех человек: двух индонезийцев, одного индейского вида мексиканца и одной хорошенькой приземистой американки по имени Мэри Шапиро, которая просила называть ее Машей. Она, впрочем, Достоевским не интересовалась, но прямо объявила Пете, что записалась в его семинар лишь с целью *improve my Russian*. Однако Петя сумел заинтересовать и ее заявлением, что Достоевский вовсе не философ, каким его считают на Западе, не потенциальный пациент венского доктора на предмет выявления у него комплекса отцеубийства, но прежде другого поэт. Петя сыпал цитатами: вот Кармазинов говорит, что суть русской революционной идеи заключается в *отрицании чести*. Но слова *честь* здесь не знали, а *honor* не передавало сути дела. И как было растолковать слова Ставрогина: *дай им право на бесчестие — самое привлекательное, ни одного не останется*. И уж вовсе непереводаемо она доходила до *самоуслаждения в своем неряшестве*, надо быть русским, чтобы это понять. Но вот *восторг от торжествующего совершенства*, за-

*ключенного в нем самом как-то проскочил, прежде всех у индонезийцев. Тяжелое раздумье посетило семинаристов, когда Петя процитировал я конечно не верую вполне, но все ж таки не скажу, что Бога расстрелять надо, то ли реакционность русского классика здесь зияла, то ли, напротив, революционность образца французского 68-ого года. В какой-то момент Петя плюнул: какая разница, понимают ли они, что аристократ, когда идет в демократию, обаятелен, это уж было совсем не по их части. Но прошло пристав был в прирожденно нетрезвом состоянии, по-видимому, отдаленно напоминало Диккенса, которому был привержен мексиканец. Дарвинизм, атеизм, московские колокола — это про Тургенева, это уж Петя развлекался сам. Человек в стыде обыкновенно начинает сердиться и наклонен к цинизму, это и русскому-то не всегда внятно.*

Короче, месяц пролетел незаметно. Конечно, Пете пришлось порассуждать и о соблазнах социализма, о которых предупреждал обсуждаемый автор, и о том, что все-таки к прозрениям Федора Михайловича следует относиться без излишних восторгов: в его время были очень свежи воспоминания о якобинцах, о Марате и Дантоне, о гильотине, о революции, которая пожирает своих детей. Но на десерт, к концу своих трудов Петя приготовил эффектный, как ему казалось, фокус. Он в красках повествовал о побеге графа Толстого из собственного имения, не без тяги к прекрасному именовавшегося Ясная Поляна. Молодые люди охали: все-то было у графа, от детей до гончих, так нет же, поперся неизвестно куда на старости лет, к каким-то старцам, хоть и сам проповедник и мудрец, за что был отлучен от

церкви — ну что твой Лютер. Жена в пруду утопилась, сам помер в одиночестве как homeless на лавке на station, как бомж не преминул пополнить их русский словарный запас Петя. Но фокус был в другом. Федор Михайлович за полвека почти до этой выходки своего современника и, безусловно, соперника, самым красочным образом в *Бесах* описал подобный побег, escape, по-нашему говоря. Ну, как Пушкин, тоже обладавший даром предвиденья, выдал Татьяну Ларину замуж за генерала, не за дипломата или придворного вельможу, не за помещика, а именно что за генерала, как будто знал, что после его смерти его вдова именно за генерала и выйдет.

И Петя открыл том и прочитал сцену побега Верховенского-старшего от его многолетней покровительницы. Самое поразительное, говорил Петя, что Федор Михайлович в деталях описал, как в пути его герой простудится, будет лежать в крестьянской избе в горячке, а потом помрет. Петя читал: «Представлялся мне не раз и еще вопрос: почему он именно бежал, то есть бежал ногами, в буквальном смысле, а не уехал на лошадях? Я сначала объяснял это непрактичностью и фантастическим уклонением идей под влиянием сильного чувства. Мне казалось, что мысль о лошадях, хотя бы и с колокольчиком, должна была представиться ему простою и прозаичною; напротив, пилигримство, хотя бы и с зонтиком, гораздо более красивым и мстительно-любовным». Петя здесь чуть опустил, но выделил голосом следующую фразу: «Надо было знать, по крайней мере, куда едешь. Но именно знать об этом и составляло главное страдание его в ту минуту: назвать и

назначить место он ни за что не мог. Ибо, решишь он на какой-нибудь город, и вмиг предприятие его стало бы в собственных его глазах и нелепым и невозможным; он это очень предчувствовал». И Петя, закрыв книгу и обведя глазами своих притихших студентов, которые, наверное, думали, что *эти русские все сумасшедшие*, с досадой понял, что не здесь, не здесь нужно бы ему проповедовать, но на родине. Но нет, нет пророка в своем отечестве. Еще Петя, конечно, подтибрил подробности, а именно, что старый граф Толстой не ушел пешком из имения, но именно уехал на лошадях, а потом на поезде, к тому же прихватил личного доктора. Но эти частности казались мелочью рядом с самой красотой построения.

Закончив семестр и получив денежки, Петя решил не торопиться на родину, но *узнать Америку*. Конечно, он мог взять машину, но предпочел демократические виды транспорта. И он действительно, пользуясь только Grey Hound, прочесал Восточной побережье. От Дэлавэра, где среди белых сосновых дюн крабы в пабе показались ему дороговаты, до крокодилов во Флориде, которые по хозяйски ползали по тропинкам национального заповедника.

Кажется, именно во Флориде, из газет Петя узнал удивительные вести с родины. Американская журналистика поверхностна и часто некомпетентна во всем, что лежит за границей. Но со страниц газет повеяло какой-то тревогой, донесся до Пети какой-то гул. Что-то было сказано о том, что *Горби пытается сохранить СССР*. Это странно звучало: когда Петя уезжал, Союз стоял, как скала...

Переменить билет было просто, в Россию никто не рвался, американцы были в отпусках, но Петя потерял в деньгах. Так или иначе, но вскоре я уже встречал его в Шереметьево-2: Лиза была в очередном счастливом браке и встречать брата не изъявила желания, пригласила на обед в ближайшее воскресенье; многочисленные Петины дамы, скорее всего, не были информированы; жены у Пети не было. С томом Достоевского подмышкой, с литровой бутылкой *Smirnoff* из того же дьюти фри, с огромным новым, серым с черным крапом, чемоданом, который таможня отчего-то смотреть не стала: не до того, что ли, было. Он почти вывалился мне на руки из *зеленого коридора* и сразу же закричал: *ну, что у вас здесь?* Я лишь пожал плечами, потому что у нас, кажется, все было то же самое. И мы обнялись. Пока мы ехали в Москву, Петя, прихлебывал водку из горлышка, озирался как бы с удивлением. Я вглядывался в него: он подтянулся, сильно загорел и изменился, мне показалось — повзрослел. И вдруг Петя сказал: *я прилетел будто в другую страну.* И остается только изумиться Петиному дару предчувствия. Ведь он сказал фразу, которая совсем скоро станет знаменитой. И тут он, читая мои мысли, повернулся ко мне и молвил: *знаешь, как называл это Достоевский: чувство кануна.*

### **ИДЕШЬ НА БАРРИКАДЫ — ВОЗЬМИ С СОБОЮ ТЕРМОС**

Петя извлекал из разинутого чрева огромного своего чемодана, стоявшего посредине комнаты, один за другим пакеты с марками известных фирм. В них были

маечки и трусики, рубашечки и мягкие мокасины, летние штаны и куцые какие-то негритянских расцветок пиджачки и курточки. И Петя командовал, чтобы я примерил то и это. Попутно путешественник отглатывал водку из большой своей бутылки, закусывал треугольным белым шоколадом, но странным образом вовсе не рвался захлеб делиться американскими впечатлениями, что свойственно многим путникам, прибывшим из-за рубежа. Напротив, он бессвязно, перескакивая с одного на другое, выкрикивал какие-то обрывки соображений, связанных с Россией. Мне запомнилось кое-что, потому, наверное, что все это звучало странно и совсем не к месту. *Понимаешь, я так и не смог перевести для них, объяснить им, что такое «робкое дыхание», говорил Петя, улыбаясь так, будто извинялся, все было не то, не то... Не прерывистое, не затаенное, но именно робкое...Я все перебрал, ничего лучше soft breathing мне в голову не пришло, но и это не то, совсем не то...Это как Бунинское название, а тут робкое...*

— Ты бы поспал, — сказал я, понимая, впрочем, что, по-видимому, ему очень давно не с кем было поговорить.

Но Петя был в том состоянии обманчивой легкости и прилива сил, в которое впадают люди после десятичасового перелета против естественного движения солнца. *Авось дороги нам починят*, возбужденно восклицал он, выкидывая из бездонного своего чемодана все новые вещички.

— У тебя там были приключения? — спросил я, полагая, что разговор об этой материи, ему, Казанове наших дней, всегда интересен. И приведет его в чувство.

— Ну, раз или два, не помню, случайно трахнулся... познакомился в сингл-баре... на Дюпон-цёркл, — отмахнулся он. — Но ты слушай, слушай. Алеша сказал как-то о вековечной нашей мечте, мол, неужели, неужели Золотой век существует лишь на одних фарфоровых чашках. Каково, а?

Я не сразу понял, кто такой Алеша, решил, было, что это новый его знакомый — так естественно, по-свойски, он упомянул это имя. Но, всмотревшись в Петино лицо, я увидел, что у него расширены зрачки, как после хорошей дозы.

— Слушай, я поеду, у меня дела утром, — сказал я решительно. — А тебе необходимо поспать.

— Ты полагаешь, — произнес Петя задумчиво. — Но как же ты поедешь, ты же пил.

— Нет, это ты пил, милый. Ты не заметил.

— Ну, что ж... хорошо... иди... спасибо, — пробормотал он сухо. И Петя широко, всласть зевнул — напоз, как мне показалось, потому что он был в каком-то незнакомом мне в нем, хоть я и знал его столько лет, состоянии как бы заторможенного возбуждения. Угадать бы, как рано мне придется ему звонить: около шести часов утра у меня под окнами пошли танки.

Я догадался включить телевизор, там показывали *Лебединое озеро*. Что ж, у нас такая страна, если танки под Чайковского, значит — государственный переворот. Я набрал номер Пети, скорее по привычке, я не понимал, что нужно делать. По мне так водку пить с милым другом, глядя на экран, надеясь, что рано или поздно что-нибудь как-нибудь разъяснится.

Петя снял трубку, как будто ждал звонка. Никакой расслабленности не было в его голосе.

— Я уже все знаю, — сказал он, — мне позвонили знакомые с телевидения. У тебя есть термос? Машину не бери. Встречаемся в метро на Краснопресненской. В центре зала. И постарайся купить водки....

Когда я выходил из дома, краем глаза увидел в телевизоре, что называется *до боли* знакомые партийные морды путчистов. Честно говоря, я не знал, зачем мне куда-то ехать. Со свойственной мне вялостью я устало подумал, что вот, попаслись немного на свежей травке, Петя даже успел смотаться в Америку, и хорош, пора опять в коммунистическое стойло. И, наверное, таких как я, было очень много, покорных скотов, которым по недоразумению ненадолго позволили разбрестись и попасться на воле. Но, конечно, я поехал, мы с Петей встретились, он был весь в белом: белые штаны, белая рубашка навыпуск, и я как-то вскользь подумал, что Петя не пошляк, чтобы вырядиться так нарочно, типа, чтобы кровь на рубашке была виднее. По пути, уже на набережной мы встретили одинокий, будто заблудившийся, танк.

Это был странный танк: дымя и ворча, он полз в ту же сторону, в которую шли и мы. Но броне у него сидели девушки, что не позволялось в советские времена даже в дни первомайских парадов, он был весь увит разноцветными ленточками, как легковая машина, привезшая молодоженов бракосочетаться, а изо всех его щелей торчали букетики гвоздик. Из люка впереди высовывался по пояс деревенский паренек в сдвинутом на затылок расстегнутом шлеме, он счастливо улыбался,

озираясь по сторонам: должно быть, впервые попал в столицу, пусть и таким экстравагантным транспортом. Если это и есть переворот, помнится, подумал я, то какой-то карнавальный, потешный. Я еще не знал, что начинается трехдневный Петин марафон по спасению молодой отечественной демократии.

На площади перед Домом правительства стояли разрозненные группки людей. Можно было подслушать, как они обсуждали между собой, что делать, *если кому-нибудь пустят танки*. То есть такая возможность была всем очевидна с самого начала, но люди не выказывали страха, во всяком случае, не подавали вида, что им страшно. И с набережной, и с верхних улиц, и от моста народ шел и шел. Площадь перед Домом правительства буквально на глазах заполнялась толпой. *Это тебе не демонстрация педерастов*, пробормотал Петя, *там было поживе*.

Толпа была на удивление разношерстна. Здесь были представители как бы разных малых народов, из которых состоит наш единый народ. Этот народ говорит на одном языке, но дистанция между работницами фабрик, набранными по лимиту, и учительницами московских школ, к примеру, едва ли не большая, чем между аборигенами Полинезии и жителями подмосковной Малаховки. Они ездят в одних и тех же поездах метро, трутся друг о друга, даже одеты одинаково — в какие-нибудь дешевые тряпки с китайского рынка, но их представления об устройстве мира ни в чем не совпадают. Однако теперь они стояли здесь плечом к плечу, и то, что их объединяло, не имело названия, как было необъяснимо, что при этой самой *перестройке*, да-

же продавщицы продмагов, которым было наплевать на политику, стали улыбаться покупателям. Их хватило ненадолго, правда, как ненадолго хватило и послаблений.

Между тем, сделалось заметно, что толпу постепенно охватывает нетерпеливое воодушевление. В этом подъеме была гибельная решимость и единство, будто коллективная жажда жертвы. К молодежи присоединялось все больше людей и среднего возраста, причем кое-кто был с детьми, что не казалось дико. Атмосфера напоминала первомайскую демонстрацию, но с той разницей, что в ней чувствовалось что-то нездоровое, чуть истерическое. Наверное, потому, что никто из стоявших на площади не понимал, что, собственно, происходит. Но каждый отчего-то чувствовал, что сейчас ему надо быть именно здесь. Толпа волновалась, но ничего не скандировала, поскольку не было у нее ни вожаков, ни общих лозунгов. Кое-где начинал петь хором песни советских лет или Высоцкого. К тем группкам, где обнаружилась гитара, тут же теснились другие. Не совсем здоровое оживление царило на площади: то ли ожидание самого дурного, то ли предчувствие общего ликования. Это возбуждение требовало какого-то выхода, вот и пели. Так группы туристов, счастливых уже тем, что они вместе, что вырвались из своих душных НИИ и коммуналок, поют хором на вокзалах в ожидании поезда, еще не зная, в каком составе и в каком направлении они отправятся.

Откуда-то выползли еще несколько танков, но и эти как бы увязали в толпе, которая мгновенно их облепляла. Застрелили и останавливались, глушили моторы. На

броню карабкались молодые люди, в большинстве своем нетрезвые. Девушки лезли к солдатам с поцелуями. Было около полудня, когда стало видно, что с Калининского проспекта, от Центра движется новая огромная толпа. Появление этого мощного подкрепления вызвало на площади движение, как бы новый прилив героической эйфории. Некоторые обнимались, хотя ничего радостного пока не произошло. Кроме дурного: так или иначе, но утром по телевидению все-таки выступили со своим заявлением члены хунты и сообщили, что вынуждены взять власть в стране в свои дрожащие руки. Отчего законопослушный, запуганный многими годами тоталитарной власти, поротый советский народ от этого заявления просто отмахнулся, было не понять. Как непонятным было и поведение танков и их экипажей, наверняка ослушавшихся приказов своих командиров. Тут я обнаружил, что Пети нет рядом.

Я стал озираясь, пару раз даже громко окликнул его, но в этот момент толпа напряжинилась, как женщина, в которую неожиданно вошли, все головы повернулись в сторону импровизированной трибуны, из мощных динамиков раздалось объявление: президент России Борис Николаевич Ельцин! Давки не было. Ельцин, стоя на крыше бронетранспортера, что-то раскати-сто вещал из-за сдвинутых щитов спецназа. Я запомнил только, что этих ребят из телевизора, вчерашних его товарищей по партийному аппарату и коллег во власти, он обозвал государственными преступниками. Петя потом рассказал мне, что находился, видимо, недалеко от меня. И что когда он увидел *эту партийную харю*, как он изящно выразился, то *чуть не сблевал*, слушая как *эти*

*секретари обкомов совершают очередную свою либеральную революцию сверху.*

— Давно замечено, — говорил Петя уже через несколько дней, когда все было кончено, и страна выскользнула из объятий одного бывшего коммуниста с тем, чтобы попасть в лапы другого, — что советского человека везде за границей тут же узнают. И не потому, что он плохо одет, он может и приодеться. По выражению глаз. Не то чтобы глаза у наших людей какие-то особенные с точки зрения физиологии. Нет, эта дымка во взоре при общей тревожности выдает печать вековой нечистой совести. И читается безошибочно. То есть, можно предположить, что у нас есть некий национальный ген воровства, передающийся по наследству, психическая какая-то роковая предрасположенность к клептомании. К теневому обороту. К взяточничеству. К утаиванию и халяве. И, напротив, того редкого русского, кто ничего в жизни никогда не украл и не присвоил, принимают за иностранца. Типа, мол, вы, наверное, немец? — Возможно, Петя имел в виду себя самого: он действительно в жизни ничего не украл и не присвоил. — А у этого к тому же его свиные глазки выдают, что он натворил на своем веку много мерзостей. Взять хоть дом Ипатьева, разрушенный по его указанию. Но лезет в верховные правители, и ведь пролезет. Что говорить, теперь начнутся перемены. В том смысле, что новая бездарная скука...

Но в те революционные дни было не до рассуждений, а в тот, первый день, вообще было еще неясно, кто возьмет верх. Но на фоне трясущихся мелкопузых членов хунты этот громогласный трибун и бывший обко-

мовский бонза несомненно выигрывал. Едва будущий властитель исчез с трибуны, с толпой стало происходить что-то до крайности странное. А именно, из уст в уста передавался призыв, неизвестно от кого исходивший, что теперь уж наверняка будет штурм, а значит — надо строить баррикады. С точки зрения практической это было абсолютно бессмысленно, мощным танкам эти самодельные конструкции не могли быть помехой. Но, во-первых, сработала многолетняя привычка наших людей к солидарному выезду на картошку, выходу на субботники и другим полезным коллективным действиям, сопровождаемым глуповатым вздыманием духа. И если сюда приплюсовать неявно санкционированное право позаниматься разрушением, а также учесть склонность любой толпы к действиям скорее символическим, чем практическим, то понятно, что этот призыв был воспринят с самым горячим энтузиазмом. И в том, как сосредоточено, серьезно и молчаливо, но с блеском в глазах многие взялись за святое дело валить фонарные столбы и переворачивать автомобили, было больше безумия, чем в любом неистовом бесновании. Впрочем, в искренность этих простых душ невозможно было не поверить.

Мне очень хотелось домой, к телевизору, но больше всего попасть в сортир и встать под горячий душ. С другой стороны я понимал, что присутствую при *исторических событиях*, и негоже было оказаться тем евреем, который из-за зубной боли пропустил, как под его окнами провели на Голгофу Христа с крестом на плечах. К тому же, я не оставлял надежду разыскать Петю. Однако удалось мне это только ночью, когда я переходил

от одного костра к другому, которые развели коммунары, охранявшие свои баррикады от невидимого врага. У одного из костров я заметил Петю, который и здесь совершенно в своем духе декламировал:

*Мы веруем, что Бог над нами может,  
Что Русь жива, и умереть не может!*

Никто из его слушателей не мог и подозревать, что строки эти принадлежат Федору Михайловичу Достоевскому, он посылал их на имя вдовствующей императрицы из Семипалатинска в видах скорейшего освобождения из ссылки: я это знал лишь потому, что эти строки Петя как-то мне уже цитировал. Заметив меня, Петя возопил:

*Кто ты, призрак, гость прекрасный?  
К нам откуда прилетел?*

Я понял, хоть по обилию стихотворных реминисценций, что он уже довольно пьян. Хороша была и компания его слушателей. Точнее — слушательниц. Одна картинно возлежала у самых Петиных ног, другая, самая громкая, что-то пьяно выкрикивала, остальные, что называется *гужевались*, как могли. Судя по тому, что они обращались друг к другу *ты, хабалка, дай закурить*, это были проститутки. Петя пригласил меня занять место у *очага*, как он выразился. Кажется, на баррикадах среди проституток он чувствовал себя совершенно в своей тарелке. Откуда-то сбоку подъехала тяжелая черная машина, похожая на броневик. Стриженные парни стали доставать из багажника ящики водки и пива: кому?

— Сюда давай, — крикнула наша громогласная, — выпьем за нашу и вашу свободу!

— Держи, сестренка, от братвы, — сказал бритый, затянутый в черную кожу браток, и всучил ей картонную коробку венгерского спирта Royal. При свирепой наружности прозвучало это у него благодушно, едва ли не трогательно. — И пивком отлакировать не желаете?

— И пиво давай. Немецкое?

— Датское, сестра, датское... — И они покатили дальше.

Петя изрек:

— Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, но одно только нужно. — Он почесал за ухом девку, что лежала у его ног. — А вот Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Передай баночку.

Дело шло к полночи. Фонари не горели, поскольку в результате революционных дел их больше не было. Но до баррикад доносились отсветы горящих окон Белого дома. Выпивка сближала. Вопреки моим предрассудкам, проститутки оказались просты и доверчивы. Правда, в их глазах была какая-то тусклость, будто их затягивала тонкая пленка. Наверное, это было от непривычки думать. Происходящее они воспринимали вполне определенно: они верили, что если завтра придет *свобода*, то начнется счастье, и справедливость восторжествует. Справедливость они видели в том, чтобы *этим козлам надавали по жопе*, под козлами они разумели *ментов*, *погонял в погонах*. Та, что лежала у Пети в ногах, мурлыкала:

— Скажи, скажи, ведь это хороший дядечка, который речь толкал?

— Такой же комедиант, как они все, — отвечал Петя, — только хитрее. Скорее всего, он сегодня на наших глазах кинул своих поделльников. Он был с ними в сговоре, а потом их кинул.

— Зачем так говоришь, — укорила его Мария, — он хороший дядечка, видный. Седой такой. Правда, девки?

— Угу, хороший, — подтвердила Марфа, очищая откуда-то взявшуюся у нее воблу.

Над толпой довольно низко барражировал вертолет, изредка включая прожектор. Сильный луч выхватывал из темноты то одну группу бунтарей, то другую. Скорее всего, кому-то надо было оценить число людей на площади.

— Ну вот, — сказал Петя, — поделльники уже начали охранять узурпатора. Ладно, с праздником вас, дамы! Знаете ли вы, какой сегодня праздник?

— Так ведь свобода!

— Шестое августа по-старому... — И Петя, приосанившись, протянув руку вперед, принялся за проповедь. *И возвел их на гору высокую, и преобразился перед ними, и просияло лице его как солнце, одежды же его сделались белыми как снег. Или, из другого места: взошел он на гору помолиться, и когда он молился вид лица его изменился, и одежды его сделалась блистающими, весьма белыми, как снег. И явилось облако и осенило их. И сказал им: истинно говорю вам, некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царствие небесное.*

— Ты Христос, что ли? — спросила одна из девок раздумчиво.

— Ну и Христос, — сказала другая, — видишь — весь в белом. — Она выпила и утерла рот рукавом.

— Я глас вопиющего в пустыне, — сказал Петя и поднялся на ноги.

Когда мы уходили, некоторые из проституток бормотали что-то и крестились. Но вскоре нам пришлось распрощаться. Потом Петя признался мне, что в те дни был страшно одинок. Возможно, это чувство, редкое для него, возникло из-за долгожданной встречи с родиной. А может быть потому, что рядом с ним тогда не было никого, вообще никого: ни Марфы, ни Марии. Кроме меня, конечно. Тогда при прощании он сказал мне странную на первый взгляд фразу: *мне одиноко, оставь меня одного*. После чего пошел прочь, и я смотрел ему вслед, пока его белая фигура не потерялась в темноте. То есть, надо было понимать так, что мое присутствие мешало Пете собственным одиночеством насладиться. Не столько обиженный, сколько смущенный я отправился домой.

Петя позвонил только дня через два. Я запомнил, поскольку в тот день опять заработал телевизор. Петя звонил не из дома. И попросил меня встретиться. Просить меня долго не нужно было. Мы встретились на Горького. Петя был в тех же белых джинсах, ставших серыми, в рубашке явно с чужого плеча. Где он околачивался эти дни и ночи, я не стал спрашивать. Он сказал только, что той, первой ночью пошел в центр, шел по середине Калининского, и на улицах не было ни души. Город вымер: те, кто посмелее, были на площади, остальные попрятались по щелям. Как я.

Мы направились в сторону Лубянки. Люди шли преимущественно в этом направлении, и мы пошли вместе со всеми. Мы застали знаменательную сцену. Как раз когда мы подошли, на шею истукану, изображавшему много лет основателя ЧеКа Дзержинского, накинули петлю из стального троса. Это была символическая казнь. Толпа зааплодировала и засмеялась, когда трос, перекинутый через лебедку и укрепленный на бронетранспортере, натянулся, а железный Феликс дрогнул, потом оторвался бронзовыми сапогами от пьедестала и косо повис в воздухе, покачиваясь, мордой вниз. Толпа взвыла. Из окон Лубянки, прячась за занавесками, выглядывали сотрудники ведомства, которое казнимый идол и организовал. Скорее всего, они ждали штурма. Но Лубянка осталась стоять, когда б так хорошо было сравнять ее с землей, а на этом месте устроить танцы. *Не нашлось Лафайета*, заметил Петя с сожалением. Изваяние погрузили на грузовик и увезли куда-то, а толпа хлынула дальше, на Старую площадь, уже посыпанную пеплом — коммунисты все последние дни неустанно жгли свои архивы...

Прошло два года, у Пети завелась новая пассия: немолодая девушка-актриса, уже мало игравшая, но преподававшая сценическую речь в театральном училище. Как всегда, Петя не столько прельстился ее роскошными телесами — дама никогда не рожала, или ее драматическим сопрано, или чуть заметными черными усиками над верхней губой, даже не забавным именем Инга Плошкина, но — месторасположением ее небольшой, но очень уютной квартиры на Смоленской площади. И здесь ночной гастроном был под боком, и здесь с

балкона открывался вид на Москва-реку, на мосты, на тот же Белый Дом напротив высотки гостиницы *Украина*. Здесь принимали Петю в любое время суток, вкусно кормили, осторожно и ненавязчиво ласкали; здесь читали стихи, здесь была атмосфера милого и мирного стародевичества, уютная и теплая, как вокзал зимой на конечной станции.

В тот памятный день Петя решил утром выпить пива. Он сгонял в магазин, потом принял душ, завернулся в белую махровую простыню, потому что, хоть габариты хозяйки не были малы, но крупный Петя в ее халаты не помещался. Он устроился на балконе, и ему подали на тарелке с золотой каймой тонко порезанный сыр костромской, посыпанный по его привычке солью с перцем. Светило яркое и теплое ранне-октябрьское солнце, и в самом воздухе была какая-то щемящая и бодрящая нота прощания: с летом и молодостью. За его спиной хозяйка включила телевизор. Там говорили об очередном конфликте в Белом Доме: непокорный Ельцину парламент засел в здании, и Петя подумал о том, что на сей раз баррикады уже не на площади, а внутри здания правительства, теперь — парламента. И тут Петя протер глаза: на его глазах на середину второго от него моста выехал танк. На самом высоком месте танк замер, и его длинный ствол стал медленно подниматься. Не может такого быть, успел подумать Петя, как танк выстрелил. Это было восхитительное зрелище: сразу на многих этажах белой стены появилась черная копоть, а посередине зияла дыра. Петя вскочил на ноги и заорал: *каков монстр, вы только поглядите, какое чудовище!* И потом: *и ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада*

*низвергнешься. Он не замечал, что за его спиной стоит немолодая Инга Плошкина. Петя, завернутый в простыню, напоминал сейчас отнюдь не еврейского пророка, но римского трибуна. И она испытывала застенчивую влюбленность, почти девичью, пополам с материнской гордостью. И ты, Капернаум...*

### **НЕ ДАЙ БОГ ИДТИ ПРОТИВ ВОЛИ НАРОДА**

И опять в стране настали свободы. У Пети статьи шли нарасхват. Он печатался в пяти-шести газетах на родине, в *Панораме* в Калифорнии, в нью-йоркском *Новом русском слове*. Однажды в феврале в одном еженедельнике он взял командировку в Осташков. Петю влекла туда ностальгия. Тамошние тверские деревни, в которых он провел некогда столько летних месяцев в самую поганую политическую погоду, служили тогда уютным и безопасным убежищем. Это была именно что Петина *Жизнь в лесу*, но теперь уж погрузневший и постаревший Петя нуждался в комфорте, и ездил по два раза в год в приличные пансионаты на теплых морях.

В архиве, который, я говорил, Лиза предоставила в мое полное распоряжение, я нашел газетку с очерком об Осташкове, привезенным Петей из той поездки, и подборку газеток с откликами: судя по обратному адресу, какой-то доброхот прислал их из Твери. Очерк по мне очень хорош, я частично приведу его здесь, потому что иначе будет трудно судить, отчего вышли такие неприятные последствия. Назван очерк был бесхитростно *Город у озера*. И начинался выдержками из Некрасовского *Современника* 60-ых годов позапрошлого века.

*«Знаете, что меня всего более поразило в наружности города? Бедность... Это вовсе не та грязная, нищенская, свинская бедность которую большей частью отличают наши уездные города,— бедность, наводящая на вас тоску и уныние и отзывающаяся черным хлебом и тараканами; эта бедность какая-то особенная, подрумяненная бедность, похожая на нищего в новом жилете и напоминающая вам отлично вычищенный сапог с дырой». Это писал едкий Слепцов, которого по ошибке причисляют к разночинцам типа Глеба Успенского, в своих Письмах из Осташкова. И дальше Петино: Тогда здесь был театр и библиотека, извозчики читали Дюма, а кузнецы хором распевали гимны. Сегодня тоже пишут об Осташкове, как о культурном городе. Прежде всего о музыкальных летних «Селигерских вечерах». О восстановлении Ниловой пустыни. О пирамиде из стеклопластика, что по идее энтузиастов должна в лучшую сторону влиять на окрестных жителей и экологию, впрочем, пить в ближайшем к пирамиде селе Хитин пока меньше не стали. Дальше вполне старомодно Петя пляшет от печки, описывая свое прибытие в город. Слепцов в первом же своем «письме» жалуется, что гостиниц в городе нет. И сегодня единственная в городе гостиница «Селигер» уже три года как бездействует. Вернее, изредка действует, как удалось выяснить отнюдь не сразу. Часть номеров сдают-таки в летнее время, в «сезон», как называют здесь период от середины мая до первых чисел августа, когда на озере заканчивается навигация, но в номерах нет горячей воды, а ресторан при гостинице давно закрыт: коммуникации при-*

*шли в полную негодность. Здесь тонкость нашего времени: эту муниципальную гостиницу власти давным-давно продали каким-то предпринимателям, те — то ли перепродали, то ли проиграли в карты, так что нынешняя ее принадлежность туманна. Этот пятиэтажный барак в брежневском стиле с бетонным козырьком над широким ступенчатым крыльцом некогда кокетливо отливал голубенькой краской, подмигивал розовыми занавесками, а нынче донельзя обшарпался, весь в ржавых потеках, будто на него сверху вылили очень большой ушат помоев. Можно не сомневаться, что Петя писал сущую правду, но не без ноты брезгливости. К тому же сразу становится ясно, отчего он начал со Слепцова: уездная жизнь не только не наладилась, но за годы послесоветской свободы откровенно пошла наперекосяк даже в сравнении с советскими временами. Представьте: день клонится к ранним потемкам, вьется первая поземка, порывами налетает ветер, вы стоите перед запертой гостиницей, в которой уповали принять горячий душ, и податься вам ровным счетом некуда. Попытки вступить в контакт с местными обывателями то и дело кончаются неудачей: прохожие пугаются, норовят прянуть в сторону, но, уразумев, что ты не просишь у них денег, принимаются мучительно искать ответ на твои расспросы. Более всего замечательны на их лицах отражения попыток совершить мыслительное топографическое усилие, как правило, заканчивающееся поражением. Впрочем, рано или поздно какая-то баба в драной дохе припоминает, что «есть комнаты на автовокзале». Не знаю, как вам, но мне мил*

этот Петин архаический стиль чуть не гоголевского времени. Поземка тем временем превращается натурально в метель, мороз под двадцать, дело к пяти, и, озираясь по сторонам в поисках хоть такси, которых здесь, конечно же, не заведено, вы замечаете невероятную картину: из всех углов в валенках с галошами, телогрейках и ушанках едут по снежным мостовым служилые, верно, люди, — на велосипедах. Некоторые велосипеды оборудованы продуктовыми кошелками спереди у руля, у других к раме подвязаны какие-то жерди. Судя по тому, как одеты эти граждане, можно решить, что на днях здесь распустили средних размеров зону. И дальше в том же духе. Ясно, что автобус на улицах города — редкость. Мне везет, мрачное лицо кавказской национальности соглашается подбросить за червонец на автостанцию. Некогда, в веселые советские времена на площади перед автовокзалом дождалась ездовых гурьба извозчиков со своими жигулями, туда-сюда сновали автобусы местных линий, а за вокзалом чинно пыхали дизелями икарусы. Нынче все как вымерло. Площадь с торчащим посреди голой клумбы скульптурным изображением Константина Заслонова пуста, в самом помещении обшмыганного холодного вокзала по лавкам сидят темные бабы, замотанные в платки, мужики в тулупах, закутанные дети на мешках. Ясно, что ждут они долго и знают, что придется ждать еще дольше. Так в кино показывают бытовые картины гражданской войны или эвакуации. При одном взгляде на расписание многое проясняется. Во многие концы района автобусы больше не ходят вовсе, и добраться теперь, скажем, до Пено,

места населенного и летом туристического, невесть как. То же и с дальним сообщением: в Москву автобусов больше нет, в областной центр Тверь — по два в день с остановками только в двух райцентрах. Это означает, что во многие деревни по трассе Осташков-Тверь попасть общественным транспортом невозможно. К тому ж, виден плакат для автомобилистов, гласящий, что в соседнем районе обвалился мост, и, если знать, что на другой берег Волги там одна-единственная дорога, можно вздрогнуть при мысли, что ждет обитателей правого берега этой зимой. Чтобы покончить с транспортной темой скажем, что и личный автопарк в городе не богат. Правда, время от времени из метели выскакивают «волво» и «саабы», что выглядит диковато на здешнем городском фоне. Впрочем, заметим для объективности, что здесь хороши дороги, которые, правда, не чистят, но, не скупясь, посыпают солью с песком, в изобилии бензин, много лавок с запчастями и две азербайджанские станции автосервиса. Вот только пользоваться этими благами могут позволить себе немногие: у большинства в городе денег, как и повсюду в России, сегодня нет. Здесь процитируем местную газету «Селигер»: «Несмотря на сложнейшее время, на отсутствие бюджетных средств на глазах преобразается город... Толстым слоем асфальта на днях покрыт переулок Советский... Если с такой быстротой будет наш город хорошеть и дальше, то через несколько лет мы его просто не узнаем». Впрочем, узнать Осташков нельзя уже сегодня. Заодно поясним: эта правоверная интонация для местной газеты не-

*избежна, издание состоит на содержании мэрии. В дальнем крыле автовокзала на втором этаже действительно удастся разыскать несколько комнат для приезжих, необжитых и нетопленных и глядящих на пустые железнодорожные пути. О горячей воде здесь слухом не слыхивали. Хозяйка в перехваченном на груди крест накрест пуховом платке лишний раз подтвердила, что иногo постоя в городе нет, но, кряхтя, выкопала по моей просьбе откуда-то измусоленную брошюрку — здешний телефонный справочник. И тут я узнал невероятное: у гостиницы «Селигер» есть-таки филиал — на «гребной базе». На мой вопрос, как туда добраться, разочарованная хозяйка подтвердила, противореча сама себе, что действительно филиал есть где-то за Гагарина: ей явно было досадно терять постояльца. Я не стал подобно Чичикову укорять ее: мол, знала, да не сказала,— она бы подобно Селифану ответила бы: так уж получилось у нас с вами, барин, знала да не сказала. И здесь внимание: дальше Петя описывает некую полуподпольную гостиницу, в которой, по-видимому, проводило время местное начальство с девочками. Петя осторожен, о начальстве — ни намека, но сам факт, что Петя набрел на эту законспирированную малину, думается, и привел уездных начальников в бешенство. «Гребная база» оказалась двумя деревянными оштукатуренными хоромами в конце одной из самых старых осташковских улиц — Евстафьевской, на берегу озера. Водитель старого рафика, нанятый за тот же червонец, высадил меня перед железными решетчатыми воротами, наглухо запертыми. В глубине двора светил сквозь пургу фо-*

нарь. Я нашел кнопку звонка. Из-за угла с лаем выскочили две здоровенные овчарки, за ними не сразу показался мужик в валенках, телогрейке, шапке, с рыжей бородой, но без велосипеда. Он, осведомившись о моей нужде, отпер калитку, прихватив за ошейник рвущуюся кровожадно к моим штанам серую с рыжим подпалом суку, и махнул рукой — туда, мол. В доме слева на обитой изнутри вагонкой веранде горел свет. Я постучал. Мне открыла гренадерских размеров женщина в спортивных штанах и майке — на веранде было даже жарко. Другая, пониже ростом, в юбке, тут же лепила пельмени. Обе, выяснив, что мне надо и кто я, стали само радушие. Гренадерша пошла показывать апартаменты: здесь вот один «люкс», две спальни, гостиная, джакузи, три цветных телевизора, а здесь второй. Здесь сауна. «Но вам-то одному люкс не нужен, так у нас есть и еще два номера подешевле, за бильярдной». Она накинула шубу на мощные плечи, мы пересекли двор и вошли во второе деревянное строение. Комната, что мне показали, была мала, но уютна, тоже с телевизором, но черно-белым. «Душ, я скажу истопнику, что б сейчас вам согрел. А потом — милости просим на пельмени». Я поблагодарил, сообразив, что и водочка припасена у меня в багаже. Я с сожалением опускаю описание озерного пейзажа, видного из Петинового окна. Гренадерша, беженка из Казахстана, была сурова и справедлива: в городе уголовный беспредел, милиция куплена, безработная молодежь — наркоманы и отморозки. У кого есть работа? Только у тех, кто на военных заводах, на «Луче» или на «Звезде», что на острове Горомля, немец-

кие пленные строили, видишь — туда от нас корабли и ходят, везут горючее. Ну, на скотобойне в Америке иногда платят, это район такой. На кожевенном заводе было занято 6000 человек, при том, что в городе живет 26000, две трети сократили, остальные не получают зарплату больше года. — Мой муж год и два месяца не получает, — уточнила вторая, по имени, как оказалось, Надежда. Она была здешней поварихой и прачкой, и весь вечер так и продолжала стоя лепить свои пельмени. — Осенью поехал на велосипеде за тридцать километров клюкву собирать. Пока был на болоте, велосипед из кустов украл. Шел домой пешком с двадцати килограммовым мешком. А на базаре перекупщики ему только сто рублей дали. Приходит домой и говорит: давай я лучше уйду от вас, а у нас двое сыновей школьников, не могу я больше так, без зарплаты. И плачет... — Кто главный в городе? — спрашиваю хозяйку. Азербайджанские бандиты. Недавно вот свои же убили авторитета Махмуда. Такой красавец был, и какой справедливый; если у бабки на базаре кошелек украдут, то в милицию она и не подумает обратиться, а бухнется на колени перед Махмудом, он найдет и вернет. А сейчас из лагеря вернулся его брат Максуд, ищет, кто убил, пойдут разборки. Армяне же держат только один маленький рынок, ресторан, несколько магазинов. Если ли свои, русские, бандиты? Сколько угодно, но эти не организованы: сами по себе грабят по дорогам и в городе, насилуют. А воруют всё, но больше по мелочи, заготовки да картошку у соседа из погреба. — Есть ли рыба, и как попробовать копченого угря? — спрашиваю. Хозяйка

поясняет, что рыбзавод давно приватизирован городским головой, мэром по-нынешнему, рыболовецкая артель гребет в озере неводом все подряд, даже мелюзгу судака, что, конечно же, варварство и тот же беспредел, но милиция ловит только частников, да изредка пьяных на улице, за остальное заплачено. Куда девают рыбу? Скорее всего, везут в Тверь. Что с угрем? Замораживают и отправляют коптить аж в Прибалтику. Здесь он даже в ресторанах теперь не водится, только на рынке у частников из-под полы. Где пообедать в городе? Да хоть в кафе «Каменная стена», в старой тюрьме — ее теперь закрыли на ремонт за ветхостью и, кажется, сделают-таки гостиницу для богатых: ведь для них даже переоборудовать ничего не надо, с радостью будут платить по сто баксов, чтобы переночевать с бабой на нарах и при параше. Хозяйка смеется, прикрывая рукой золотой рот. Нас прервал телефонный звонок. Ответ хозяйки насторожил меня: есть тут у нас один москвич, так я у него спрошу. И, положив трубку: девочка хорошенькая, длинноногая, четырнадцать лет, школьница, умница, о стихах умеет говорить, отец пьет, мать челночит, ну, она и подрабатывает, говорит — возьму недорого, сто рублей, только чтоб не дрался. Я вежливо отказался и сообразил, что попал не иначе, как в милый домашний комфортабельный притон. Читая мои мысли, хозяйка пояснила: — Да к нам часто крутые аж из Москвы в люксы приезжают: у нас и пляж, и водные лыжи. Ну и заказывают девчонок, конечно. А в тех комнатах, где вы, там у них шоферы живут, охрана...

На другой день Петя делает променады по городу. Центральные улицы оставляли впечатление вчерашней бомбежки: многие дома стояли с проломленными крышами, с забитыми ржавым железом окнами. То и дело мне попадались люди, везущие на санках молочные фляги с водой, а то и просто с ведрами: многие колонки не работают, и народ тянется за несколько кварталов — «на чужие». Во всех дворах — большие поленицы. Магистрального газа здесь тоже нет, только в пятиэтажках на окраинах, но, поговаривают, этой зимой газа вообще не будет, и власти призывают экономить, не отапливаться же газом из баллонов. Уголь дорог, топят везде только дровами, как и было это всегда с основания города. Описание рыночной торговли я тоже не могу опустить. Большой базар открывается по выходным на старой Тимофеевской улице. «Обжорные ряды», как говаривали в старину, довольно убоги: мясо не ахти какое на вид, творожок, сметанка. Очереди стоят лишь за одним видом продовольствия — за сахарным песком. В той же местной газете я прочитал, что на зиму хватит масла и муки, а вот сахар администрация пытается достать по бартеру, обменяв на юге на лес. Основные торговые базарные площади занимают торговцы всяческим барахлом. Здесь есть финские ботинки и итальянские сапоги, привезенные из Турции и Китая. Впрочем, по сходной цене можно купить и шерстяные носки, и валенки — местного, будем надеяться, промысла. Ну да это картина знакомая, удивляет другое. В базарный день большой рынок по периметру буквально обставлен автомобилями. И прут пешие тол-

пы — многие с санками. И это при бьющей в глаза здешней нужде. Что ж, в России есть, наверное, не только двойной стандарт богатства, когда банкиры одной рукой отправляют миллиарды в офшорные зоны, а другой просят на бедность у правительства. Есть и двойной стандарт нищеты, когда днем бродяги побираются на паперти, а вечером закусывают «Смирнофф» финской колбасой... Пока я бродил по рядам одна из торговок, приглядевшись, видно, к моему пальто, поманила рукой: — Угорька не хотите?— Я хотел. Из-под прилавка был извлечен промасленный деревянный лоток с рыбой. Я отобрал пару штук по сто рублей за голову и завернул их в приобретенный рядом пластиковый пакет для мусора, отметив попутно, что такие пакеты здесь продают не рулонами, но поштучно. О торговле. Государственная торговля сведена почти на нет. Тут и там открыты маленькие продуктовые магазинчики, носящие гордые названия: «Грант», «Русь», «Галант». В них — по полтора десятка наименований водки, импортная ветчина в вакуумной упаковке идохловатые апельсины: ни киви, ни авакадо в Осташкове, кажется, не признают. Сквозь предвечернюю мглу разноцветно светятся и играют многочисленные ларьки, названные как на подбор: «Ольга», «Светлана», «Елена». И если магазинчики держат зачастую местные, то ларьковый бизнес в закавказских руках, откуда и названия: армяне ласковы и сентиментальны. Дальше Петя ведет добросовестный отчет, как здесь проводят досуг. В городе действуют несколько питейных точек и один дансинг — он буквально так и называется, причем по-

английски,— при клубе той же кожевенной фабрики. Кроме упомянутого молодежного кафе в тюрьме — с баром и бильярдом, есть закусочная «Нептун», бистро «Хоттабыч» и ресторан кавказской кухни «Ашет». По моим наблюдениям, заведения эти, весьма по здешним меркам дорогие, по большей части пустуют. Хотя тюремный бильярд не простаивает. Есть и единственный кинотеатр, где в дни моего пребывания уже третью неделю длилась «неделя индийского кино». Так что осташам скучать не приходится, развлечений здесь никак не меньше, чем в других российских углах. Да и то сказать, под вечер в пятницу на потемнелых улицах я не встретил ни единого трезвого человека. Страшней всего выглядели пьяные женщины неопределенного возраста с изможденными лицами, о которых можно было б сказать «иконописными», кабы не были они невероятно испитыми. Заканчивается этот очерк описанием того, как семеро монахов восстанавливают вручную, как муравьи, знаменитую Нилову Пустынь, монастырь на ближайшем к городу острове, загаженный большевиками, которые держали там малолетних преступников. Петя менторски заканчивал очерк утверждением, что только, мол, на этих верующих людях все и держится, а на веру — одна надежда. Думается, Петя здесь отдал дань тогдашней моде, ведь совершенно ясно, что никакая вера и никакие монахи эту разруху, так красочно Петей описанную, остановить не могут.

Наверное, Петя, что называется, *отписался*, сдал материал в редакцию и о нем благополучно забыл. Какое же было его удивление, когда на его имя в адрес

редакции пришел толстый пакет, судя по обратному адресу — из Твери. Так получилось, что когда Петя пакет вскрыл, мы с ним сидели в ресторане *Рюмка* и в ожидании борща с пампушками закусывали ледяную водку селедкой и холодцом. Из пакета на стол посыпался ворох газетных вырезок. Перебрав их, Петя побледнел и произнес загадочно: *теперь я понимаю, каково было Пастернаку*. И протянул мне развернутую газету. Это была та самая газета *Селигер*, которую Петя цитировал в своем очерке. Пете был посвящен целый разворот. Это была подборка *писем трудящихся* — разгневанных, сочащихся злобой и классовой ненавистью. Общий смысл был в том, что *некий Камнев, назвавшийся журналистом*, приехал из Москвы и со столичным высокомерием облил помоями наш любимый город. Эти были преимущественно письма рабочих, среди которых затесалась одна библиотекарь. Самого Петиного текста, разумеется, не было, так что если рабочие по разнарядке и писали эти письма, то — самого очерка не читая. Подытоживала эту компанию, продолжавшуюся три недели, статья в *Тверской правде*, газете тамошних коммунистов. В ней содержался намек, что таким, как этот Камнев, не место на Тверской земле. *Они, пожалуй, меня сожгли бы*, невесело ухмыльнулся Петя, и вдруг спохватился:

— Слушай, я же этой бабе в редакции рассказал, что у меня дом в Польках.

Петины опасения оправдались. Его дом, правда, не сожгли, потому что тогда сгорела бы вся деревня, но специально приехавшая строительная бригада раскатала строение по бревнышку

## В СУПЕРМАРКЕТЕ НЕ НУЖЕН ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ

Петя женился в третий и последний раз между смертью отца и смертью матери, так уж получилось, и Елена Петровна еще успела увидеть Олечку, но узнать ее поближе не успела. *Настойчиво хорошая женщина*, отозвался как-то Петя о своей третьей жене, с которой жил до времени в гражданском браке. В этом, третьем супружестве дети Пете уже не грозили. Как и страсти. Все улеглось и установилось. Молодые продали свои квартиры, сложили вырученные деньги и купили прелестное жилье в старом доме на краю Екатеринского парка. Эта квартира-студия с высоченными потолками странным образом соединяла вкус Пети к богемности со старомодным уютом. Помимо подаренных знакомыми художниками картин на стенах здесь были и ковры на полу, и вьющиеся какие-то растения на метровых в ширину подоконниках. Висели тяжелые портьеры, стояли старенькие комоды и усадебные еще платяные шкафы, часть из которых Лиза, делавшая, как мы помним, евроремонт в родительской квартире, покушалась отправить по помойку. Свое место заняла и *отцовская* икона, как называл ее Петя, та самая, подаренная некогда покойным Алферовым. У Пети наконец-то был свой кабинет, где он поставил отцовский широкий, под зеленым сукном письменный стол. Теперь Петя много работал и жизнь вел строгую, приговаривая *к сибаритству склонны только бедные*. Завели и собаку, как без собаки — шоколадного лабрадора женского пола, доб-

родушную, но приставучую суку, вечно лезшую к гостям лизаться. Когда Петя, души в этой собаке не чаявший, отворачивался, я легонько щелкал ее по носу, и на короткое время нежности прерывались.

*Я впервые понял, что такое семейная жизнь,* говорил Петя, *это когда все ровно, тепло, уютно, подчас даже радостно, чаще скучно, и тебе напоминают о не принятых лекарствах.* Петя говаривал, что в браке под старость есть лишь одно неудобство: нужно время от времени разговаривать. Но можно найти приятные безобидные темы, утешал себя Петя, например: *к мясу картошка или макароны, кофе с молоком или черный, и пора ли сдавать в чистку ковер, который истоптала любимая собака, и что сегодня на пятом канале.* Здесь нелишне будет добавить, что Петя стал весьма неплохо зарабатывать, в журналистских кругах у него было имя.

Соблазнительно было бы сказать банальность, что Петю *как подменили.* Нет, по-видимому, время от времени он все-таки тяготился однообразием своей счастливой и достаточной семейной жизни. Я часто бывал у них, потому что Петя полюбил принимать гостей, причем хозяйка вполне патриархально почти не присаживалась к столу. И это при том, что была переводчицей с русского языка на английский, долго жила в Англии, и была вполне европейкой. Но я подозревал, что она устала от безмужней самостоятельности, и Петин домострой ей даже нравился.

Как и в молодости, мы часто сживали с Петей вдвоем в кабачках, реже, конечно, чем прежде, когда, работая в одной редакции, то и дело сбегали в буфет

Дома архитекторов, но раз в неделю-две. Подчас, пропустив коньячка, Петя оживал, молодец, загорался, принимался строить планы. В те годы наш средний класс ударился в путешествия, и Петя с Олей то ездили в израильский Эйлат, то в адриатическую Милано Морисимо, городок между Римини и Равенной, с посещением Венеции и Флоренции, то в Турцию на недельку — all included. По возвращении Петя жаловался, как осточертели ему *эти четыре звезды*, спа, массажи, бассейны, шведские столы, настырные горничные и обязательные Euronews по телевизору во время сиесты. Но уж не смог бы жить без теплого клозета.

Он стал брюзглив, в негодовании отбрасывал газету, едва ее открывал, его раздражала нынешняя власть — больше другого своей безвкусицей, даже ставшие дежурными притворно либеральные нападки на большевиков, которых он сам когда-то терпеть не мог. Он, как в старые времена, выпив, бурно цитировал что-нибудь вроде *горе вам, фарисеи, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши*. А однажды, размечтавшись как встарь о вольных странствиях, вдруг, приговаривая *сейчас, сейчас* и морщась, пока вспоминалось, процитировал:

*Все мы знавали злое горе,  
Бросили все заветный рай,  
Все мы, товарищи, верим, в море,  
Можем отплыть в далекий Китай.*

И Петя радостно рассмеялся, хлопнув ладонью по столу, довольный, видно, что память и на этот раз его не подвела.

— В Китай, отлично, именно в Китай!

Как раз перед этим случилась та скверная история с Еленой Петровной, когда мы с Петей спасали Лизину микроволновую печь из рук соблазнителя и осквернителя. Елена Петровна умерла от стыда и скорби, последнюю свою неделю проведя в беспамятстве. По уже изложенным выше причинам Петя на похоронах матери не был, но именно в те траурные дни сделал Ольге форменное предложение. И теперь поездка в Китай могла сойти за свадебное путешествие: Петя подгадал так, чтобы заключить брак перед самой поездкой — от перспективы церковного венчания Петя с отвращением отказался, как от явной архаической пошлости, а Ольге это и в голову бы не пришло, она была законченной атеисткой.

Петя изучил возможные маршруты по Интернету, выбрал тропический остров Хайнань с доставкой через Шанхай, связался с агентством и в конце января преподнес жене путевку в отель по многообещающему имени Intime, в двухэтажный съют с верандой, глядящей на Южно-Китайское море Тихого океана. Поездка предполагалась в конце марта. И все бы хорошо, когда б эту покойную жизнь, лишь немного взбаламученную смертью матери Пети, и все Петины идиллические планы — всё не взорвало, не разметало нежданное несчастье, приключившее с Ольгой среди бела дня.

На нее напали в сумерках, не было шести. Покалечили и ограбили. Ее тело лежало на подтаявшей земле: с утра было морозно, но за бессолнечный, но хлипкий день развезло. Ольга шла из магазина по темной улице, до дома оставалось едва два квартала. Нападавший подскочил сзади. Он был замотан поперек морды спар-

таковским шарфом, об этом рассказал случайный свидетель, который в тот момент стоял у окна, он и вызвал милицию. Скорее всего, это был футбольный фанат, шедший на матч на близкий к их дому стадион *Динамо*. Преступник ударил и рванул у Ольги с плеча итальянскую сумочку, что подарил ей Петя во время Адриатического путешествия. Она, конечно, ничего не видела, ни лица, ни фигуры злодея, почувствовала лишь, будучи свирепо сбита с ног ударом сзади, что — молодо и зверино. Милиция нашла ее лежащей в грязи и крови, порван плащ, измазана юбка. По земле рассыпались — раскатились яблоки, бутылка сухого красного вина, Петина водка, кулек с сыром, сверток с сосисками — пакет с продуктами грабитель не тронул.

Петя в этот день был в гостях у Лизы — он намеревался разобрать архив, остававшийся до времени в родительском доме, но так ничего и не сделал, проболтав часа два и засидевшись за столом — они с сестрой редко виделись теперь. Вдруг раздался звонок из приемного покоя Боткинской, медсестра довольно свирепо заинтересовалась, есть ли у Пети жена. И назвала имя Ольги.

— Приезжайте опознавать, — сказала она чудовищную фразу. Позже она объяснила Пете, что поскольку у потерпевшей не было документов, то ее личность невозможно было установить. *А бомжей к нам каждый день привозят*, не преминула поделиться она. Но это объяснение поступило позже, когда Петя уже убедился, что Ольга жива. Но тогда он, положив трубку, едва не лишился сознания. Он совсем потерял голову, и, держа под языком таблетку валидола, что засунула ему в рот

сестра, помчался в Боткинскую. *Я и не знала, что он так ее любит*, сказала мне потом Лиза, пожимая плечами.

Конечно, как и все, Петя смотрел телевизор и знал, что на улицах Москвы кого-то что ни день грабят, избивают, насилуют и убивают, даже в аллеях их Екатерининского парка, и всегда волновался, когда Ольга зимой задерживалась до темноты. Но нам свойственно отчего-то уверенность, что именно нас беда обойдет стороной. Петю не обошла. Ольга лежала на каталке в холодном коридоре у стены, и никто на нее внимания не обращал. Под головой у нее лежал скомканный рваный грязный плащ, а под боком две скрючившиеся от воды и крови маленькие кожаные перчатки, и над этими перчатками впору было залиться слезами, до того это было жалостливое зрелище. И лишь когда Петя появился и взял за руку искалеченную жену, лицо которой превратилась в один фиолетово-красный синяк, та сжала ему руку и, преодолевая боль, улыбнулась. И прошептала *как хорошо, что ты здесь*. Петя хотел ответить, что где же, где же ему еще сейчас быть, но тут появился доктор в белом халате и в очках. — Вы кем приходитеесь больной? — спросил он будто с досадой.

— Я ее муж, — сказал Петя.

— Наложим швы. И сделаем прививку от столбняка — раны открытые... И забирайте.

Петя хотел спросить, отчего все это еще не сделано, и разве можно ее сейчас трогать, но, посмотрев в лицо врача, не спросил.

— У нас все переполнено, — сказал врач уже откровенно враждебно. — Кроме того, для госпитализации нам нужны ее документы. У вас есть ее документы?

— Они все были там, — прошептала Ольга разбитым ртом.

Врач развел руками и исчез, и сестра покатила Ольгу следом за ним. И Петя догадался, что надо бы было предложить врачу денег, но не знал, как это делается.

Вечером того дня на каталке Петя довез жену до санитарной машины, которую он нанял здесь же, в больничном дворе, причем шофер запросил тысячу рублей, хотя отсюда до их дома было рукой подать. И с помощью того же шофера внес ее в дом и уложил на диван. И Ольга тут же заснула. Петя достал бутылку коньяка, который он держал в книжном шкафу, но успокоиться не мог. Он был так ошарашен свалившимся на них горем, что никак не мог сообразить, что же ему теперь делать. Хочу отметить, что мне Петя не позвонил, наверное, полагал, что в этом несчастье я ему уже не помощник. И вот тут пришла на помощь Лиза. Ее решительность и связи в неврологических сферах впоследствии в деле выздоровления Ольги сыграли решающую роль...

Утром Петя вызвал скорую. И Ольгу забрали в Первую Градскую, ничего лучше тогда не придумалось. И только тут Петя, так долго живший холостяком, вдруг понял, какой груз повседневных жизненных забот приняла на свои плечи его жена. Оказалось, он не знал, ни где находится их прачечная, ни их сберкасса, понятия не имел, как надо заполнять счета, даже с собакой, пока Петя валялся на диване, и утром и вечером выходила

Ольга. Он думал о жене повседневно, все время — с нежностью, жалостью, благодарностью. Он потом говорил мне, не боясь показаться банальным, что, *как выяснилось*, ближе нее у него человека нет. И что-то в том духе, что Бог и посылает людям такие испытания, чтобы вразумить.

Через неделю мы с Петей, державшим в кулаке большой букет гвоздик, навещавшим жену всякий день и знавший эту огромную больницу наизусть, *получили* больную, которая с чужой помощью уже могла худо-бедно передвигаться. Ольгу вывела к нам медсестра, и Петя, привыкший рассовывать персоналу деньги, которые персонал с удовольствием брал, но, как правило, ничего не делал, и этой сестричке протянул купюру. Та укоризненно улыбнулась и покачала головой: оказалось, это была монашка.

Знакомая Лизы специалист по сотрясению мозгов осмотрела Ольгу, прописала тысячу уколов. Петя покупал лекарства, разыскивал медсестер, эти уколы делавших, платил и платил, а в перерывах варил бульон, выносил мусор, ходил в магазин, гулял с лабрадоршей и кормил ее, и только удивлялся, каким способом Ольга, всегда делавшая все это, ухитрялась еще выполнять свои переводы и ходить в театр. Петя стал образцовой сиделкой, и только то и дело спрашивал у врачихи, как дела у больной, и скоро ли та поправится. Врачиха отвечала нечто неопределенное, говорила, что ничего не может сказать без результатов томографии.

Между тем, больной становилось видимо лучше. Она стала вставать. Порывалась мыть посуду, Петя ши-

кал на нее. Улыбалась виновато, мол, видишь, что со мной произошла, уж прости. И однажды спросила:

—Петенька, а когда ты летишь в Китай? — Петя замер — он начисто забыл об этом самом Китае. — Ты поезжай, ты так хотел поехать. А у меня Нина поживет, вот наболтаемся с подругой. А мне, врач сказала, долго еще нельзя будет летать самолетами. Да у меня и заграничного паспорта нет.

И Петя вспомнил, что действительно, как многие женщины, Ольга носила с собой в сумочке кроме старых счетов и потертых театральные программки уже снятых с репертуара спектаклей, все свои документы, оба паспорта, сберегательную книжку, книжку записную, даже свидетельство о рождении, и Петя смеялся над ней. Иронизировал: *ты путаешь продуктовый магазин с погранзаставой.*

— Я подумаю, — сказал теперь Петя и поцеловал жену в лоб.

### ТОЛСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ ТРУДНО ХОДИТЬ ПО ПЕСКУ

Мне нетрудно реконструировать подробности этого Петиного последнего путешествия, поскольку мне в руки попал его ноутбук с заметками к планировавшемуся Петей путевому очерку. Мало того. Недавно я и сам был в Китае, повторив его маршрут: *по Петиным местам*, так сказать. И во многом с Петей согласился. Первая запись Пети в файле, который именовался *Китайское*, стояла набранная крупно фраза — надо думать, возможное название: **В ПОДНЕБЕСНОЙ НЕТ НЕ-**

**ВЫПОЛНИМЫХ ДЕЛ.** И под ней абзац, который, полагаю, должен был стать тем, что в газетах называется *врез*.

*Китайцы — отчаянные, но стихийные патриоты. Молодежь улыбочива, весела, свободна и кажется счастливой. Здесь носят штаны и рубашки собственного производства, ничуть не грустя по американским джинсам, едят рис с креветками палочками, как три тысячи лет назад, скоро переседут в свои китайские машины и запустят в космос свою китайскую космическую станцию. Мало того, весь мир теперь тоже ходит в китайских рубашках и китайских штанах. Пользуется мелкой бытовой техникой китайского производства. Стучит на клавиатурах компьютеров «желтой сборки». И скоро переседет в китайские автомобили, будет летать на китайских самолетах, а в космосе от китайцев станет тесно. И, что характерно, китайцам не приходит в голову искать национальную идею: она у них уже есть — это сам Китай.*

Похоже, Петя за неделю с небольшим, проведенную им к тому времени в Поднебесной, успел стать если не буддистом, то, так сказать, синофилом. Возможно, его радужный настрой был связан с тем, что уже в самолете Москва-Шанхай он нашел веселую попутчицу, соседку по креслам. Она представилась *флористом*, но при более подробном опросе оказалась продавщицей цветов. Но с откупленной собственной торговой точкой. То, что Петя — журналист, ей польстило и заинтриговало. Это была простая сильная здоровая женская особь крестьянских кровей, родом из-под Днепропетровска, лет со-

рока, с южным акцентом, довольно бесшабашная. Когда она улыбалась, то щурила, почти закрывала глаза, а когда говорила — тарщила. Это было мило и весело, и за долгий полет они уговорили на пару бутылку бурбона, который Петя очень полюбил еще в Америке за *smoked taste*, копченость, если по-русски. Кроме того, она произвела на Петю хорошее впечатление тем, что в полете дважды кончила, когда он потихоньку проник рукой к ней в штаны. Петя, будучи знатоком, не удивился: всяческие транспортные вибрации, будто то подскоки на стыках рельсов, подпрыгивание автобуса на ухабах или проваливания самолета в воздушные ямы благотворно действуют на дам — в сторону полового возбуждения. А случайное дорожное совокупление вообще приятно безответственностью, поскольку, как правило, почти или даже полностью анонимно. К тому же Люба — Петя вспомнил с тихой грустью первую жену своей младости — следовала ровно по тому же маршруту Шанхай-Саньйо, что и он, а ее отель был соседним с Петиним отелем, назывался Pearl, тоже красиво. И удобно, все-таки соседний, а не тот же самый.

В Шанхае попутчики продолжали в том же духе, в ресторане на дважды пузатой телевизионной башне, где их по программе угощали пекинской уткой, Петя заказал китайской водки, довольно вонючей, но крепкой. В очень дорогом отеле Merry me, скорее всего, предназначенном если не для молодоженов, то для вольных свиданий, они любили друг друга в ее номере, потому что он, в отличие от номера Пети, оказался оборудован прозрачной стенкой, и любовник с кровати мог видеть, как принимает душ его возлюбленная. Наутро в садике

возле Храма Нефритового Будды, среди благовоний, они, спрятавшись за кустом чего-то тропического, камыша или бамбука, сделали по паре глотков из горлышка, потом с горбатого мостка смотрели на красных карпов в пруду. В какой-то фольклорной фанзе, носившей имя *летний павильон*, они еще раз ощупали один другого, будто проверяя, все ли на местах. Оба были совершенно довольны друг другом, поскольку быстро сдружились, и все выходило складно. Правда, при посадке в аэропорту, куда их привезли на стремительном поезде на воздушной подушке, который, паря, открывал дальние виды, тушуя ближний план, водку у Пети отобрали, внутри китайские законы оказались строги. Так что они вплоть до достижения океана ничего не пили, но зато оба с часок поспали, склонившись один к другому головами.

Забавна следующая запись в Петинем наброске: *Набоков здесь быстро бы соскучился — в Китае совсем нет pozhlost.* И здесь же была приписка, к Китаю отношения не имевшая: *Блок был умнее Набокова, тот считал, что талант и пошлость несовместны, а Блок знал, что и гении подчас бывают большими мудаками.*

Здесь же описание курортного отеля и повседневного прозябания. *Вокруг — рукотворный рай. В искусственном живописном болоте, рядом с бассейном для игры в поло, перегавкиваются китайские лягушки: было бы унизительно для тропических реалий этот брачный лай назвать по-русски кваканьем. Тем более, что и сами лягушки здесь размером с месячного щенка сенбернара. Китайка внешности выдавшей виды оперной Чю-Чю-сан в саду отеля, на берегу этого самого*

*болота, раскинувшегося прямо под моим окном, по вечерам знойно поет Беса ме, беса ме мучо, и этот призыв своевременен, здесь хочется все время целоваться нежно. На пляже можно купить в любое время за пять юаней холодный кокос с дырочкой и трубочкой для отсасывания молока, а также холодный ломоть ананаса — за три. Если волна не высока, то в теплой, почти горячей, густой воде можно лежать на спине часами. И думать **о высоком**, глядя на синее как в детских книжках, без единой ворсинки облаков небо. Думы выходят пряными и душными, как запах манговых кустов в саду отеля.*

Петя плохо переносил жару, прихватывало сердце, а на острове тогда было тридцать пять по Цельсию. В последний год Петя очень погрузнел, отрастил, валяясь на диване, солидное брюхо, безрезультатно худел, и я, будто в кино, отчетливо вижу, как он одышливо ступает по раскаленному песку, увязая сандалиями, неся свое неповоротливое уже тело к кромке прибоя. Но об этом, разумеется, у него не было написано ни слова. Как ни звука, ни намека в этих записях и о том, что на самом деле мучило Петю, и о чем он мне намекал во время наших с ним последних телефонных разговоров.

В первый раз позвонил я. Я подгадал так, чтобы у них в Китае было время послеполуденное, и Петя наверняка в самый разгар жары валялся бы в номере. Я угадал, он сразу взял трубку. После ничего не значащих дежурных слов Петя вдруг произнес фразу, трагической смысл которой я тогда не сразу понял. Он сказал: *по мне не останется пустоты, как поле тени.* И тут же добавил:

*но я, как Товит, ходил путями истины и правды. Я промолчал, что тут было сказать.*

*Во втором разговоре, когда позвонил мне он сам, Петя заявил шутливо: самое обаятельное в жизни мужчины это обаятельное предсмертие. И я, помнится, укорял его за покойницкое остроумие.*

*Позже, вспоминая об этих двух последних разговорах, я думал, что точнее было бы сказать, что Петя ходил многими путями — ходил в поисках чести. А когда я положил трубку меня, помнится, посетило странное чувство, что он говорил со мной из какого-то невероятного далека, нет, не в географическом смысле, конечно, но точнее сказать не могу.*

*В его компьютере сохранился и такой пассаж. Нет, китайцы не станут нас захватывать — вопреки воплям наших патриотов. У нас холодно, экологически неуютно и грубо. Они будут действовать тоньше. Они будут так тонки и приветливы, что мы не заметим, как сами их к себе пригласим. Потому что если и есть в мире страна, мощно устремленная в будущее, то это все еще бедный по западным меркам Китай. За пятнадцать лет, преодолев разруху, оставленную «культурной революцией», эта страна мощно рванула вперед. На поверхности лежит простое объяснение: в Китае не стали делать перестройку, снимая портреты бывших вождей и низвергая кумиров, а потом вешая изображения новых, но умно и решительно взялись за экономику. Они поставили лошадь впереди телеги, справедливо решив, что надстройка над базисом подождет. Но есть одна более глубокая вещь: нетронутая древняя культурная традиция. Мао не*

только не взрывал храмы, но не тронул ни одной конфессии, и почитается благодарными соотечественниками одной из реинкарнаций Будды. А «перевоспитывал» с помощью хунвейбинов он лишь партийных профессоров марксизма, впавших по его версии в оппортунизм. Причем публичное перевоспитание отнюдь не венчалось публичными расстрелами. В этом не было необходимости, потому что в отличие от большевистской «ленинской гвардии», которую умучил Сталин, у китайских партийных бонз не было счетов в швейцарских банках. И, наконец, коммунистическая диктатура продержалась в Китае не семьдесят лет, но всего лишь тридцать. Разница в два поколения. И китайцы не выводили путем кровавой селекции новый тип *homo soveticus*, но оставались китайцами. Пусть часть из них была партийными китайцами... Надо отметить, что Петина способность увлечься с первого взгляда в этом случае застит ему глаза: с его тропического курортного острова судить об огромном, мрачном и темном, Китае все равно как сложить себе представление о брежневской безотрадной России, сидя в люксе гостиницы *Жемчужная* в Сочи...

В Петиных личных вещах, присланных Лизе консульством — Ольга ведь не успела стать законной женой — Евангелия не оказалось. Но были три других книги: рассказы Пу Сун Лиина *Лисьи чары*, эротический роман Ли Юя и томик *Дао де цзин*. Я очень удивился, что все это нашлось, по-видимому, у Пети в домашней библиотеке, книги были потрепаны, но он никогда не говорил со мной о китайской словесности. Разве что пару раз цитировал Конфуция, но это были обиходные цитаты.

Среди Петиных пометок была и такая запись. *Китайцы продают что ни попадя праздношатающимся европейским курортникам, торгуя с восточной настырностью и изобретательностью. Всем, что у них есть. Слоны, значит слонами. Обезьяны — обезьянами. Змеи — змеями: из змеиного яда изготавливают лекарства от артрита и остеохондроза, от разлития желчи, а также мази от ожогов и морщин. Отвары местных трав хороши в случае атеросклероза. Торгуются сушеные фаллосы морских котиков, а также соленый салат из половых органов кобр — все это необходимо для увеличения мужской силы. И, конечно, жемчуг морской, речной и поддельный. Шелк, фарфор, акульки плавники, драконы, буддизм, цирк, пекинская утка и свинина по сычуаньски, веера, корень женьшеня, воздушные змеи, иглоукалывание, массаж и контрафактные часы с поддельными авторучками «Монблан» в придачу. Крестьяне в островерхих соломенных шляпах несут на коромыслах корзины тропических фруктов, моторикши — сплошь отчего-то женщины — приглашают подвезти до ресторана, велорикши увозят с городских улиц мусор. В сумерках у отеля из темноты сада выходят молоденькие завитые, крашенные хной китаянки: ваша хОча секс. С веранды ресторана доносятся звуки рок-н-ролла — он тоже китайского происхождения, как шелковые штаны и проститутки: китайский тональный язык может быть приспособлен для имитации англо-саксонского звучания значительно убедительнее, чем русская речь...*

Эти наброски так и не превратились в слитный текст, а ведь это был бы забавный дорожный очерк. Я думал об

этом, когда перебирал то, что от Пети осталось. Перебирал не только в уме, но — вещественно: пачки писем от его возлюбленных, писанных еще в те поры, когда не было электронной почты, груды фотографий довольно смазливых дам, мне не знакомых; на оборотной стороне некоторых снимков без излишней фантазии было начертано *всегда твоя* или *всегда готова*; здесь же я обнаружил и два-три своих изображений, на одном мы сняты вместе с Петей, но убей не могу вспомнить где. На Пете легкий темный пиджак и рубашка апаш, позади нас какие-то кусты московской потрепанности. Попался мне и квиток с тем, что в США называется *social security number*. И, скорбя и всхлипывая над этой жалкой кучей никому не нужных теперь свидетельств Петиней краткой жизни, я вспомнил еще одну фразу, что он успел мне сказать по телефону перед своей смертью: *что ж, я прожил счастливую жизнь, у меня все получилось...*

## НА МЕСТЕ ЭПИЛОГА

Я первым узнал о смерти Пети. Узнал потому, что в его мобильном телефоне мой звонок значился последним. И позвонил Лизе. Конечно, это было малодушием по отношению к Ольге, но сначала, ошеломленный, я не смог себя заставить сообщить ей об этом горе. Принести ей весть, которая, при ее болезни, могла просто убить ее.

Версию самоубийства я отмечаю. Петя не раз говорил, что в молодости самоубийство бедной всеми оставленной девочки Насти произвело на него такое впе-

чатление, что он потом годы думал об этом. И у него как бы выработался иммунитет к самой мысли о наложении на себя рук. Петя пришел к убеждению, что это не выход. Христиане правы — самоубийство это грех. Перед собой. Правда, говорил Петя, *изуверство не хоронить самоубийц без отпевания: слабых, отчаявшихся, не нашедших сил в себе, не дождавшихся помощи извне и не видящих впереди просвета*. Это правило — одно из самых отвратительных ханжеских установлений, принятых в церковной практике, добавлял он. Это так же омерзительно, как инквизиторский запрет на похороны актеров в ограде кладбищ: ведь это следует признать абсурдным, если, конечно, верить в бессмертие души, которое якобы гарантирует обряд, когда тело покойника обойдут с кадилом. А если не обойдут? *В религиозных предрассудках на редкость ярко проявляется тупость человеческая*. Это не я, это Петино.

Другое дело, что, по-видимому, как очень нервное животное, он предчувствовал свою кончину. Недаром же он декламировал мне по телефону, лежа в номере китайской гостиницы Intime:

*Слышишь как он сладкогласно  
При конце своем поет!  
Кто на свете жил прекрасно,  
Тот прекрасно и умрет!*

Черт его знает откуда, из Жуковского, что ли, но не из того, портрет которого висел в свое время у Камнева-старшего в кабинете. И Петя действительно умер роскошно: посреди тропической растительности, при тихом бризе, под мягкий шепот кондиционера, в струях возду-

ха, идущих от вентилятора, но кровати king size с видом на океан.

В его компьютере я нашел такие записи:

**С собой:** книги китайские  
лекарства  
очки  
диктофон  
телефон  
шорты  
тапочки  
компьютер  
очки солнечные

**Еду в:** зеленые штаны, пиджак, жилет

**В Китае:** подарки Н. К.  
подарок Лизе  
благовония  
приправы  
белый пыльник  
легкий костюм  
рубашки летние — марля  
банданы  
халат Ольге, тапочки  
шелковые пижамы обоим

5 мая 07, Валентиновка — 4 марта 08, Переделки-  
но

---

<sup>i</sup> впервые опубликовано «Октябрь» 2008 №11